Leonid Andrejew

Professor Storizyn

Drama

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ

Профессоръ Сторицынъ

Драма въ четырехъ дѣйствіяхъ.

BERLIN

J. Ladyschnikow Verlag

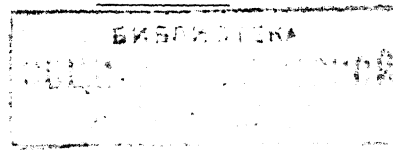
G. m. b. H.



bV
6772
Про

Право собственности внѣ Россіи закрѣплено за авторомъ
во всѣхъ странахъ,
гдѣ это допускается существующими законами.

Alle Rechte vorbehalten,
insbesondere das Übersetzungsrecht in fremde Sprachen.
Den Bühnen gegenüber Manuskript.



197542 +



Druck
der Spamerschen
Buchdruckerei zu Leipzig

Дѣйствующія лица:

СТОРИЦЫНЪ, ВАЛЕНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, профессоръ.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, его жена.
ВОЛОДЯ, СЕРГѢЙ } дѣти.
МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ, братъ Елены Петровны.
ТЕЛЕМАХОВЪ, ПРОКОПІЙ ЕВСЕЕВИЧЪ, профессоръ.
САВВИЧЪ, ГАВРІИЛЪ ГАВРІИЛОВИЧЪ.
КНЯЖНА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА.
МАМЫКИНЪ.
ДУНЯША, горничная Сторицыныхъ.
ФЕКЛА, кухарка Модеста Петровича.
ГЕННАДІЙ, денщикъ.

Первое дѣйствіе.

Профессоръ Сторицынъ — худощавый, высокаго роста, ширококостый человѣкъ лѣтъ сорока пяти. Держится очень прямо, ходитъ неслышно и быстро, жесты широки и свободны; и только въ минуты большой усталости или нездоровья слегка сутулится. Сѣдины незамѣтно: ни въ темныхъ, тонкихъ, слегка разметанныхъ волосахъ, ни въ короткой, подстриженной бородѣ. Красивымъ лицомъ и формою головы профессоръ напоминаетъ нѣсколько Т. Карлейля; подъ скулами темнѣютъ впадины. Обычное одѣяніе — свободно сидящій, широкій сюртукъ, откладной, незакрывающій шеи, крахмальный воротникъ. Внѣшній видъ Сторицына скорѣе суровый, чѣмъ мягкій, и только въ разговорѣ и поступкахъ выявляется его истинный характеръ.

Осенній вечеръ, часовъ около семи. Окна на улицу завѣшены тяжелыми, суконными портьерами, и воздухъ въ профессорскомъ кабинетѣ тяжелъ, глухъ и неподвиженъ, какъ въ пещерѣ. Вездѣ книги: какъ бы вышла изъ своихъ береговъ библіотека и заливаетъ комнату сверху; на столахъ рукописи и гранки. Видны мучительныя усилія привести въ систему книжный и бумажный хаосъ, но порядку мало; книжные шкафы безъ ключей, не на мѣстѣ валяются вчерашнія газеты. Полъ затянутъ темнымъ сукномъ; на стѣнахъ портреты писателей въ черныхъ рамахъ и нѣсколько картинъ — подарковъ знакомыхъ художниковъ. На большомъ письменномъ столѣ рабочая лампа съ непроницаемымъ абажуромъ: тутъ же на металическомъ подносѣ начатая бутылка краснаго вина съ двумя стаканами. Въ высокомъ стекляномъ бокальчикѣ одинокая роза. Въ сторонѣ на столикѣ, возлѣ дивана, горитъ лампочка со штепселемъ, зеленый колпачекъ снятъ, чтобы виднѣе было; хозяинъ, профессоръ Сторицынъ, не совсѣмъ

здоровъ и его внимательно выслушиваетъ и выстукиваетъ Прокопій Евсеевичъ Телемаховъ, другъ и товарищъ Сторицына еще по гимназіи, теперь профессоръ военно-медицинской академіи. Телемаховъ, въ военномъ докторскомъ сюртукѣ съ генеральскими погонами; сѣдоватъ, сухъ, лицо морщинисто и желто, рѣчь и жесты отрывочны и скупы. На тонкомъ сухомъ носу пенсне, которымъ Телемаховъ пользуется только при писаніи рецептовъ и занятіяхъ, обычно же смотритъ поверхъ стеколъ, наклоняя голову и морща лобъ. Ростомъ немного ниже Сторицына.

Въ углу въ креслѣ притаился Модестъ Петровичъ, не дышетъ, боится помѣшать осмотру, съ безпокойствомъ слѣдитъ за неторопливыми серьезными движеніями Телемахова.

Вотъ Телемаховъ приподнялъ рубашку у больного и приложился ухомъ къ широкой, вздрагивающей отъ холодка спинѣ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Вздохни.

СТОРИЦЫНЪ. Такъ? Вздыхаетъ протяженно.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Довольно. Такъ. Нагнись. Вздохни еще. Такъ. А теперь положи правую руку на голову.

СТОРИЦЫНЪ. Я не понимаю какъ? . . Такъ, что ли? . . Ну, довольно?

ТЕЛЕМАХОВЪ выстукиваетъ. Погоди.

Снова внимательно слушаетъ.

СТОРИЦЫНЪ разсматривая себя. Экое дрянное тѣло, кожа блѣдная, зябкая, неживая. Плохое тѣло, Телемаша?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Профессорское. Повернись ка.

Выстукиваетъ.

СТОРИЦЫНЪ. Да ты ужъ стукалъ . . . извини, извини, не буду. А вѣдь я въ сущности здоровъ, какъ лошадь, мнѣ бы на дорогѣ камни ворочать или въ циркъ «Модернъ» борцомъ. Если бы не сердце . . .

ТЕЛЕМАХОВЪ. Молчи, не мѣшай.

СТОРИЦЫНЪ. Молчу. Модестъ, если тебѣ не трудно, дай, дружокъ, со стола папиросу.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Сейчасъ, Валентинъ Николаевичъ, съ удовольствіемъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. А подождать не можешь?

СТОРИЦЫНЪ. Если ужъ нужно, то могу, а вообще... Не велятъ, Модестъ, спасибо, голубчикъ. Кончено?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Да. Кури ужъ, курилка.

СТОРИЦЫНЪ. И одѣваться можно?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Можно и одѣваться. Модестъ Петровичъ, помогите ему.

СТОРИЦЫНЪ. Чего тамъ, не надо, да не надо же, голубчикъ, я самъ. Отвернувшись отъ Телемахова, одѣвается. Ну какъ, Телемаша, — поживу еще?

ТЕЛЕМАХОВЪ наливая вино. Поживешь.

СТОРИЦЫНЪ. Ты правду говоришь?

ТЕЛЕМАХОВЪ. А то что же? На велосипедѣ ѣздить нельзя и отъ цирка «Модернъ» надо отказаться. Выставь анонсъ, что въ борьбѣ не участвуешь.

СТОРИЦЫНЪ. Ты шутишь, Телемаша? А интересно бы знать, какое было сердце у римскихъ гладіаторовъ—да, да, вѣроятно удивительное сердце. Впрочемъ, пустяки, и мнѣ совсѣмъ не нужно было обращаться къ твоей помощи. Ты слушалъ только снаружи, а я слышу его изнутри, и я могу огорчить тебя, Телемаша: у меня ужаснѣйшее сердце!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Субъективныя ощущенія. Усталость.

СТОРИЦЫНЪ. Да? Ты, Телемаша — юмористъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Къ сорока годамъ каждое сердце устаетъ. Зачѣмъ столько работаешь, зачѣмъ столько куришь?

СТОРИЦЫНЪ. Да, зачѣмъ? Но однако, пойду и доложу Еленѣ, что у меня субъективныя ощущенія, она такъ безпокоилась, добрый человѣкъ!

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Можетъ быть, сестру сюда позвать, Валентинъ Николаевичъ? Я позову.

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ, Модестъ, я самъ. Подожди меня, дружокъ, я быстро.

Уходитъ. Телемаховъ, заложивъ руки подъ сюртукъ, прохаживается по комнатѣ, сердито косясь на Модеста Петровича; выпиваетъ еще стаканъ вина. Затѣмъ останавливается передъ Модестомъ Петровичемъ и долго въ упоръ, молча смотритъ на него поверхъ очковъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ робко. Такъ какъ же, профессоръ? . .

ТЕЛЕМАХОВЪ. А такъ, что плохо. Скверно. Беречь надо.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Но вы же сказали, что субъективныя . . .

ТЕЛЕМАХОВЪ. Сами вы субъектъ, Модестъ Петровичъ. Я еще поговорю съ вашей сестрицей, а вы постарайтесь ей внушить, что безобразія ваши пора кончить. Понимаете?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Да какъ же я внушу?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Это ужъ ваше дѣло. Вы ей братъ. Пора кончить, здѣсь вамъ не свинушникъ, да! Не свинушникъ! Саввичъ опять здѣсь?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Но войдите въ мое положеніе . . .

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не имѣю на это ни малѣйшаго желанія. И вообще ни въ чье положеніе входить не желаю, у меня свое положеніе. Что вы моргаете? Терпѣть не могу, когда вы начинаете моргать, Модестъ Петровичъ!

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Но, уважаемый . . .

Быстро входитъ Сторицынъ.

СТОРИЦЫНЪ. Тамъ оказывается Саввичъ и этотъ проклятый писатель, Мамыкинъ. Неприличная фамилія — Мамыкинъ. Когда они пришли, я не слыхалъ звонка . . . ахъ, до чего они мнѣ надоѣли оба!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Выгони.

СТОРИЦЫНЪ. Экій ты, братъ Телемаша, солдатъ. Но куда же ты? Неужели домой?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Надо. Больной ждетъ.

СТОРИЦЫНЪ. А я думалъ, вечерокъ посидишь, Телемаша, старый другъ. Эхъ, жалко. Винца бы выпилъ — ты красное винцо по прежнему любишь?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Я и самъ бы радъ . . . полчаса можно посидѣть. Удивительно, что ты совсѣмъ не сѣдѣешь, Валентинъ Николаевичъ.

СТОРИЦЫНЪ. А ты изрядно пообносился, козлиная бородка! Сколько тебѣ лѣтъ, Телемаша? Я помню тебя лѣтъ тридцать, да до этого ты еще сколько то жилъ . . .

ТЕЛЕМАХОВЪ. Однолѣтки. Да, волчья шерсть. Какъ твоя книга: идетъ?

СТОРИЦЫНЪ. Да, что, голубчикъ, удивительно! — пятое изданіе готовлю.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ого.

СТОРОЦЫНЪ. Да, непостижимо! Ну, а твоя какъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Моя? Смотритъ поверхъ очковъ. Стоитъ на полкахъ, какъ вкопанная.

СТОРИЦЫНЪ. Да что ты! Это у тебя издатель плохой, Телемаша, это же недопустимо!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Издатель тутъ не при чемъ, книга плохая.

СТОРИЦЫНЪ. Прекрасная книга, великолѣпная книга!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ну, оставь, не люблю. Слушай, Валентинъ Николаевичъ, тебѣ надо остепениться въ работѣ, — да, да, братъ, слушай, что я говорю. Зачѣмъ выступаешь публично? — не надо. Успѣхъ, поклонницы и поклонники, — все это хорошо, но нужно и о здоровьи подумать. Ты человѣкъ не первой молодости . . .

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Валентинъ Николаевичъ работаетъ ужасно, до обморока.

СТОРИЦЫНЪ. Но ты же знаешь, что я не для успѣха и не для поклонницъ. Что ты говоришь?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ну — кто же не любитъ успѣха! А скажи, съ тобой за это время дурного ничего не случилось, ты что то не веселъ? Я думалъ было, что книга сѣла.

СТОРИЦЫНЪ. Дурного . . . Нѣтъ, кажется, ничего. Ты куда, Модестъ?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Въ столовую. Я сейчасъ вернусь.

Уходитъ.

СТОРИЦЫНЪ. Деликатнѣйшій человѣкъ!

Телемаховъ неопредѣленно смотритъ вслѣдъ Модесту Петровичу и молчитъ съ явнымъ неодобреніемъ. Сторицынъ смѣется.

СТОРИЦЫНЪ. Когда я вотъ такъ, вдвоемъ, смотрю на тебя, мнѣ хочется смѣяться, какъ жрецу. Ты все такой же, Телемаховъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. А ты? А пожалуй пора бы перемѣниться. Еще не научила жизнь?

СТОРИЦЫНЪ улыбаясь. Учитъ. Да вотъ что я хотѣлъ сказать тебѣ: у меня книги стали пропадать. Воруетъ кто то. На дняхъ у букиниста нашелъ книгу со своимъ эксъ либрисъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ исподлобья. Не хорошо, профессоръ!

СТОРИЦЫНЪ. Да, очень. Дѣло не въ книгахъ, хотя пропало довольно много, а въ томъ, что гдѣ то по близости таится воръ . . . и такой странный воръ! Ужасное ощущеніе, отъ котораго во всѣхъ комнатахъ температура становится на два градуса ниже. Такъ то, Телемаховъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Эксъ либрисъ имѣешь, а ключей отъ шкафовъ нѣтъ? Лучше наоборотъ, Валентинъ Николаевичъ: у меня простые номера, но за то ключи есть, и ни одна книга пропасть не смѣетъ! Нехорошо, профессоръ! Горничная у тебя грамотная, на кого ты думаешь?

СТОРИЦЫНЪ. Дуня наша неграмотная . . . и ни на кого я не думаю! Какъ ты не понимаешь этого, Телемаша: именно думать «на кого то» я и не хочу. Есть люди, которые радуются, найдя вора, поймавъ преступника, обнаруживъ лжеца, — они всегда удивляли меня. Когда я встрѣчаю лжеца, — мнѣ становится такъ . . . глупо какъ то и нехорошо, что я . . . самъ иногда помогаю ему лгать, противъ себя же. Нелѣпо, Телемаша?

ТЕЛЕМАХОВЪ пытливо смотря на Сторицына. Нѣтъ, постой, это интересно: а секретарь, ну вотъ тотъ, что на машинѣ работалъ, у тебя все тотъ же?

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ ужъ, все что хочешь, но только Бога ради безъ шерлоковщины! Достаточно и того, что вмѣсто своихъ обычныхъ мыслей, обычной работы, я вдругъ на мгновеніе становлюсь . . . сыщикомъ. Этакія тонкія мыслишки, комбинаціи, догадочки . . . фухъ, свинство! Свинство, профессоръ!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Самому и не надо, зачѣмъ? Заяви въ полицію, тебѣ пришлютъ агента . . .

СТОРИЦЫНЪ. Оставь! Прости, Телемаша, я кажется, немного рѣзокъ, но все это волнуетъ меня . . . до болѣзни. Выпей винца, кажется, то самое, что ты любишь... Дурного? Оно случается каждый день, и ты самъ его знаешь не хуже меня. Самъ ли я становлюсь золъ и нетерпѣливъ, но меня поражаетъ, иногда почти до столбняка — поражаетъ ужасающее неблагородство русской нашей жизни. Столько грубости и хамства . . . противное слово! . . крика и дрязгъ, и вездѣ на выставкѣ кулакъ, кулакъ! Въ формѣ ли кукиша, наиболѣе мягкой съ ихней точки зрѣнія, а больше — въ видѣ гвоздящаго молота. Вотъ вчера: стоитъ мой Сергѣй по серединѣ передней и кричитъ: Дунька, калоши! Что за грубость, и откуда онъ ей научился? Я его, молокосса, никогда Сережкой не назвалъ, а онъ стоитъ и кричитъ: Дунька, калоши. Или вотъ моя Елена Петровна — добрѣйшій человѣкъ, ты ее знаешь, не вылѣзаетъ изъ разной благотворительности, а я не могу ее научить говорить прислугѣ «спасибо». Мерси еще можетъ, это у нея выходитъ безсознательно, а спасибо — нѣтъ, ни за что! И что тутъ подумаешь, труднаго: спасибо.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Значитъ, трудно, коли за двадцать лѣтъ не научилъ. Что это она о тебѣ безпокоиться начала?

Тихо постучавшись, входитъ Модестъ Петровичъ, несетъ стаканъ чаю.

СТОРИЦЫНЪ. Это ты, Модестъ? Присаживайся, голубчикъ. — Она всегда безпокоится.

ТЕЛЕМАХОВЪ вставая. Ну, не знаю. Дѣло ваше, у меня и своихъ Дунь достаточно. Такъ я поѣду, Валентинъ, а ты ужъ постарайся не волноваться.

СТОРИЦЫНЪ обнимая его. Спасибо, Телемаша, старый другъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Знаю, что совѣтъ нелѣпый, но обязательный. — Что у насъ сегодня, пятница? — черезъ недѣльку заѣду, поболтаемъ. До свиданія, голубчикъ. Ты меня не провожай, я еще къ Еленѣ Петровнѣ на минутку зайду. До свиданія, Модестъ Петровичъ.

Уходитъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Суровый человѣкъ, неприступный человѣкъ! Вотъ такіе точь въ точь судьи у меня были, какъ въ тюрьму закатывали.

СТОРИЦЫНЪ. Онъ — юмористъ. Они тамъ?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Да. Сидятъ.

СТОРИЦЫНЪ. Не уходи, голубчикъ. Мнѣ работать сегодня не хочется и не хочется, чтобы кто нибудь сюда пришелъ. Ты что, старикъ?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ нерѣшительно смотритъ на часы. Боюсь я, Валентинъ Николаевичъ, относительно поѣздовъ.

СТОРИЦЫНЪ. Ахъ, да брось твои Озерки! Чортъ тебя тамъ поселилъ, въ какихъ то Озеркахъ, мало тебѣ мѣста въ Петербургѣ. Когда послѣдній поѣздъ, въ часъ? Ну и неуспѣешь, у меня на диванѣ заснешь — вѣдь не дѣвица. Оставайся.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ торопливо прячетъ часы. Я съ удовольствіемъ, Валентинъ Николаевичъ, я только стѣснить боюсь.

СТОРИЦЫНЪ. А какая неловкость вышла съ книгой, Модестъ? Фу, чортъ, — впечатлѣніе такое, будто я хотѣлъ похвастаться своимъ успѣхомъ. Ужасно неловко! — я такъ люблю Телемашу . . . Про какую это еще тюрьму ты говоришь? Какъ ты не устанешь повторять одно и

тоже, старикъ! Не ты виноватъ, что домъ развалился, а подрядчикъ, и пора же къ этому привыкнуть, наконецъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Хорошо, Валентинъ Николаевичъ. — А онъ говоритъ: я хамъ незнающій, надо мною глазъ нуженъ, если надо мною глаза не будетъ, я могу всю землю разрушить. Вотъ вѣдь какъ онъ говоритъ, Валентинъ Николаевичъ.

СТОРИЦЫНЪ. Оставь! Ходитъ. Онъ юмористъ. Я еще его жену помню: красивая была женщина — безпутная, кажется, или что то въ этомъ родѣ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Красивѣе моей бывшей?

СТОРИЦЫНЪ. Твоя, извини меня, была рожа и мѣщанка, и ты долженъ всегда радоваться, что она тебя во время выгнала. Они тамъ?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Да, я уже говорилъ тебѣ, пьютъ чай. — «Я честная женщина, мнѣ не зачѣмъ ногти чистить.»

СТОРИЦЫНЪ ходитъ. Печально, печально... Странно и печально. Вотъ онъ говоритъ, что каждое сердце устаетъ къ сорока годамъ — неправда это, Модестъ. Какъ можетъ устать сердце? — это вздоръ. Сердце можетъ плакать, — кричать отъ боли — сердце можетъ биться, какъ въ оковахъ... но усталость! Мнѣ сорокъ шесть лѣтъ, а иногда тысячу сорокъ шесть, но съ каждымъ днемъ жизнь я люблю все больше, работу мою всю нѣжнѣе... къ чорту усталость, старикъ!

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. На тебя, Валентинъ Николаевичъ, вся Европа смотритъ.

СТОРИЦЫНЪ. Не шевелись, старикъ! Онъ сѣдъ и желтъ, какъ пергаментъ, что понимаетъ онъ въ радости? Онъ какъ глухой въ оперѣ. Откуда знать ему эту силу внезапныхъ очарованій — радость трагическаго, — великолѣпный ужасъ внезапныхъ встрѣчъ, неожиданныхъ открытій, проваловъ и высотъ. Усталость! Вообрази, старикъ, что ты ученый и что ты тысячу лѣтъ искалъ...

Входитъ Елена Петровна — высокая полная дама съ бурнымъ дыханьемъ. Лицо ея еще красиво, но очень сильно напудрено. Особенно красивы глаза.

СТОРИЦЫНЪ подавляя выраженіе неудовольствія. Ну что? — наконецъ успокоилась, Елена?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА пробуя его голову. Тебѣ не лучше?

СТОРИЦЫНЪ осторожно отводя руку. При чемъ же здѣсь голова? Что у меня — дезинтерія, какъ у грудного младенца?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Не волнуйся. Прокопій Евсеевичъ сказалъ, что прежде всего ты долженъ избѣгать волненій. Ахъ, Валентинъ, я такъ безпокоюсь. Ну, послушай меня, ну поѣдемъ за границу, ты тамъ отдохнешь. разсѣешься. Будемъ ходить по музеямъ, слушать музыку...

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ. Мнѣ надо работать, Лена.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Тогда зачѣмъ же ты жалуешься?

СТОРИЦЫНЪ. Я не жалуюсь, это тебѣ показалось.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Тогда не надо жаловаться, если не хочешь лечиться. Ну, не волнуйся, не волнуйся, я уже давно привыкла все дѣлать по твоему. Но если тебѣ лучше, то быть можетъ, ты выйдешь въ столовую: Гавріилъ Гавріилычъ очень безпокоится и хотѣлъ самъ поговорить съ тобой о твоемъ здоровьи.

СТОРИЦЫНЪ. Саввичъ? Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста, Лена: извинись и вообще помягче, скажи, что я немного утомленъ.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. И княжна пришла.

СТОРИЦЫНЪ медленно. Людмила Павловна?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Да, и непремѣнно хочетъ видѣть тебя. Я ужъ говорила ей, что ты не совсѣмъ здоровъ, но она такая назойливая . . .

СТОРИЦЫНЪ. Назойливая?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Не придирайся къ словамъ, пожалуйста, у меня и такъ нервы разстроены. Если хочешь, я пришлю ее сюда, она тебя развлечетъ. О тѣхъ

не безпокойся, они люди свои и я имъ скажу, что это по дѣлу. Я добрая, Валентинчикъ?

СТОРИЦЫНЪ цѣлуя руку. Но пожалуйста, извинись, Лена, вообще помягче.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ахъ, Валентинчикъ, я сегодня весь день плачу! Нѣтъ, не безпокойся, это я такъ, у меня ужаснѣйшія нервы. Будь умницей и не волнуйся, а я сейчасъ приведу ее. Кажется, дѣвочка не на шутку влюблена въ тебя, пожалѣй ее. Je ne suis pas jalouse . . .

СТОРИЦЫНЪ укоризненно и рѣзко. Елена.

Но Елена Петровна уже уходитъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Людмила Павловна очень гордый человѣкъ. Прекрасная дѣвушка!

СТОРИЦЫНЪ сухо. Да? Гдѣ мой галстухъ, ты не видалъ, Модестъ? Дай скорѣй, голубчикъ! Если тебѣ когда нибудь захочется сказать настоящую пошлость, то говори по французски — удивительно удобный языкъ. И если тебѣ случится когда нибудь захворать, Модестъ, то скрывай это такъ, какъ будто ты убійца и кого нибудь зарѣзалъ . . .

У дверей Елена Петровна и княжна.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА церемонно. Пожалуйте, княжна. Вотъ онъ, мой больной, развлеките его, онъ, бѣдненькій, скучаетъ. Un moment! Venez-ici, Modest!

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ торопливо. Иду, сестра, иду.

Поздоровавшись съ княжной, уходитъ. Сторицынъ и княжна одни.

СТОРИЦЫНЪ. Людмила Павловна, я очень радъ . . . Простите великодушно, здѣсь такой ужасный безпорядокъ. Этотъ подносъ я уберу, эти бумаги я отложу, эти гранки — такъ — теперь садитесь пожалуйста, Людмила Павловна.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Вы нездоровы, Валентинъ Николаевичъ?

СТОРИЦЫНЪ. Пустяки, о которыхъ чѣмъ меньше говорить, тѣмъ пріятнѣе.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Хорошо. Вашъ кабинетъ теперь не такой, какъ днемъ.

СТОРИЦЫНЪ. Лучше?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да. Я вамъ не мѣшаю?

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ. Людмила Павловна, вы были больны?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Нѣтъ, я была здорова. Я теперь каждый день ѣзжу верхомъ на острова.

СТОРИЦЫНЪ. На острова? Да, конечно. Но я успѣлъ немного привыкнуть, чтобы мы вмѣстѣ возвращались съ курсовъ, и эти двѣ недѣли . . .

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Вы привыкли, чтобы я васъ провожала? Я не хотѣла.

СТОРИЦЫНЪ. Да, конечно. Не прикажете ли чаю, княжна?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Нѣтъ, благодарю васъ, я въ это время не пью. У васъ въ столовой опять сидитъ Саввичъ? — онъ всегда тамъ сидитъ?

СТОРИЦЫНЪ. Да, почти всегда. Во всякомъ случаѣ — пять лѣтъ.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. И въ кабинетъ вы его также пускаете?

СТОРИЦЫНЪ. Оставимъ Саввича. Вы и у насъ долго не были, отчего?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Тоже не хотѣла. Мнѣ очень не нравится вашъ домъ. Вы ничего не имѣете противъ, чтобы я такъ говорила? — я не могу иначе.

Молчаніе. Сторицынъ тихо и нехотя смѣется.

СТОРИЦЫНЪ. Я смотрю на ваши длинныя перчатки и чувствую себя, какъ студентъ, который на балу случайно познакомился съ великосвѣтской барышней и не знаетъ, о чемъ съ ней говорить. На васъ особенное платье, обыкновенно я не вижу, какъ одѣваются женщины, но на васъ особенное платье, и отъ этого я просто не узнаю своего кабинета. Интересно было бы видѣть васъ въ амазонкѣ. Впрочемъ, все это пустяки . . . и вы хорошо

дѣлаете, что молчите. Скажите, Людмила Павловна, вы прочли книги, которыя я вамъ рекомендовалъ?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Нѣтъ.

СТОРИЦЫНЪ сухо. Вѣроятно, не было времени?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да. Я все думала и мнѣ некогда было читать.

СТОРИЦЫНЪ. О чемъ же?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. О жизни думала. И о васъ думала.

Молчаніе. Сторицынъ быстро ходитъ.

СТОРИЦЫНЪ. Вы знаете, о чемъ я всегда мечталъ? . .

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Ваша жена сказала, что вамъ вредно волноваться.

СТОРИЦЫНЪ. Оставьте! . . Я мечталъ о красотѣ. Какъ это ни странно, но я, книжникъ, профессоръ въ калошахъ, ученый обыватель, трамвайный путешественникъ — я всегда мечталъ о красотѣ. Я не помню, когда я былъ на выставкѣ, я почти совсѣмъ лишенъ величайшаго наслажденія — музыки, мнѣ некогда прочесть стихи; наконецъ, мой домъ . . . Вы слушаете?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да.

СТОРИЦЫНЪ. Но не въ картинахъ дѣло, да и не въ музыкѣ. Вотъ говорятъ, что жить надо такъ и этакъ . . . много говорятъ, какъ, когда нибудь вы все это узнаете — я же знаю одно: жить надо красиво. Вы слушаете? Надо красиво мыслить, надо красиво чувствовать: конечно, и говорить надо красиво. Это пустяки, когда человѣкъ заявляетъ: у меня некрасивое лицо, у меня безобразный носъ. Каждый человѣкъ — вы слушаете; — долженъ и можетъ имѣть красивое лицо.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Какъ у васъ?

СТОРИЦЫНЪ. Я вамъ очень благодаренъ, что вы мое лицо считаете красивымъ: я самъ его сдѣлалъ такимъ. Но это я — а какъ же другіе? Объясните мнѣ эту загадку... эту печальнѣйшую загадку моей жизни: почему вокругъ меня такъ мало красоты? Я надѣюсь, я вѣрю, что кто

нибудь изъ моихъ слушателей, котораго я не знаю, котораго я никогда не видѣлъ близко, унесъ съ собой мой завѣтъ о красивой жизни, и уже взростилъ цѣлый садъ красоты — но почему же вокругъ меня такая... аравійская пустыня? Или мнѣ суждено только искать и говорить, а дѣлать, а пользоваться должны другіе? Но это тяжело, это очень тяжело, Людмила Павловна.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Нашъ домъ очень красивъ, но отъ этого онъ еще хуже. Кто вамъ поставилъ розочку?

СТОРИЦЫНЪ. Модестъ. Это значитъ: или вашъ домъ въ дѣйствительности не красивъ, или же не такъ плохъ, какъ вы думаете.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Нѣтъ, очень плохъ, я знаю.

СТОРИЦЫНЪ. Но вѣдь вы же изъ этого дома? Простите, княжна.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Я не люблю, когда вы называете меня: княжна. И вы искренне думаете, профессоръ, что я красивая?

Сторицынъ смѣется.

СТОРИЦЫНЪ. Да.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Потомъ буду—да, а сейчасъ нѣтъ. Вы знаете, я бросила живопись. Это такой ужасъ! — я смѣшивала красивыя краски и вдругъ на бумагѣ выходила гадость. А они хвалятъ. И вы знаете, зачѣмъ я ѣзжу на острова? — думать. Однажды вы, Валентинъ Николаевичъ, посмотрѣли на меня съ презрѣніемъ . . .

СТОРИЦЫНЪ. Я?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да, вы, Валентинъ Николаевичъ — и даже съ отвращеніемъ. И съ тѣхъ поръ я все думаю, и если бы вы знали, какъ это трудно! Иногда я даже плачу, такъ это трудно, а иногда радуюсь, какъ на Пасху, и мнѣ хочется пѣть: Христосъ воскресъ, Христосъ воскресъ! И вы невѣрно думаете, что жить надо красиво . . .

СТОРИЦЫНЪ. Невѣрно?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да. Жить надо — чтобы думать. Иногда я начинаю думать о самомъ безобразномъ, у насъ во дворѣ есть такой мужикъ Карпъ — и чѣмъ больше я думаю, тѣмъ безобразія все меньше, и опять хочется пѣть: Христосъ воскресъ.

СТОРИЦЫНЪ. Дорогая моя, но вѣдь это же и есть . . .

Въ дверь стучатъ.

СТОРИЦЫНЪ. Ахъ, Боже мой. Войдите, кто тамъ? — Что надо, Модестъ?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ нерѣшительно подходя. Прости, Валентинъ, но къ тебѣ хотятъ Гаврилъ Гавриловичъ и Мамыкинъ.

СТОРИЦЫНЪ. Зачѣмъ это? Нельзя.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Но они уже идутъ. Гаврилъ Гавриловичъ безпокоится о твоемъ здоровьи.

Входятъ Саввичъ и Мамыкинъ, нѣкоторое время спустя — Елена Петровна. Саввичъ полный, крупныхъ размѣровъ, красивый мужчина съ черными, подстриженными щеткой усами.

САВВИЧЪ. Хотя вы, профессоръ, и запретили строжайше входить въ ваше святилище, и хоть у насъ и трясутся колѣни отъ страха, но разъ вы сдѣлали исключеніе для одной особы, то и мы рѣшили съ Мамыкинымъ: пусть исключеніе станетъ правиломъ. Садись, Мамыкинъ.

СТОРИЦЫНЪ сухо. Садитесь, Мамыкинъ.

САВВИЧЪ. Кромѣ шутокъ; какъ вы себя чувствуете, знаменитѣйшій? Докторамъ не вѣрьте, всѣ доктора врутъ.

СТОРИЦЫНЪ. Меня выслушивалъ Телемаховъ.

САВВИЧЪ. Знаю-съ, но что отсюда слѣдуетъ? Позвольте, позвольте, хотя вы и знаменитѣйшій профессоръ, а я никому неизвѣстный учитель гимназіи, но я всегда позволяю себѣ говорить правду: вашъ Телемаховъ — форменная бездарность. Почему вы не обратились къ Ратаеву, вѣдь я же вамъ совѣтовалъ? Не слушаете совѣтовъ, а потомъ и киснете, какъ старая баба, извините

за дружескую прямоту. Вотъ мнѣ сорокъ лѣтъ, а вы видали когда нибудь, чтобы я былъ боленъ, жаловался: ахъ, головка болитъ, ахъ, сердце охватило. Ты видалъ, Мамыкинъ?

МАМЫКИНЪ. Нѣтъ.

САВВИЧЪ. И не увидишь. Историческій фактъ. Ты что, Мамыкинъ, закисъ: знаменитѣйшаго испугался? Не бойся, онъ не кусается.

МАМЫКИНЪ. Я никого не боюсь.

САВВИЧЪ. И не бойся. Папироску возьми.

МАМЫКИНЪ. У меня свои есть.

САВВИЧЪ. Брось! Ты сколько за свои платишь: небойсь три копейки десятокъ, вѣдь ты пролетарій, а профессорскія съ ароматомъ . . .

СТОРИЦЫНЪ. Пожалуйста, курите, Мамыкинъ.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Вы не знаете, княжна, когда первый абонементъ въ оперѣ?

САВВИЧЪ. Профессоръ, мы съ Мамыкинымъ о рукописи зашли спросить . . . Виноватъ, княжна, вы что-то изволили сказать.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Валентинъ Николаевичъ, вы свободны въ воскресенье? — поѣдемте съ вами куда-нибудь за городъ.

СТОРИЦЫНЪ. Въ воскресенье? А что у насъ будетъ въ воскресенье?

САВВИЧЪ хохочетъ. Пятница.

СТОРИЦЫНЪ смѣясь. Т. е. я хотѣлъ сказать, что у меня есть какое то засѣданіе.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Нѣтъ, нѣтъ, княжна, Бога ради, увезите его. Я буду отъ всей души благодарна. Ему такъ необходимъ воздухъ . . . я разсержусь, если ты не поѣдешь, Валентинъ.

САВВИЧЪ. Развѣ и мнѣ съ вами проѣхаться? — я тоже давненько на лонѣ природы не былъ.

МАМЫКИНЪ. Вы забыли, Гаврилъ Гаврилычъ, въ воскресенье я читаю у васъ повѣсть.

САВВИЧЪ. Ахъ, да, да, да, — забылъ, братъ! И какъ разъ днемъ. Послушаемъ, послушаемъ твои обличенія!

СТОРИЦЫНЪ. Великолѣпно! Прекрасно! Въ концѣ концовъ это замѣчательная идея. Но, позвольте, куда же мы поѣдемъ? Или . . . или . . . А что, Модестъ, если мы пріѣдемъ къ тебѣ въ Озерки? Какъ вы думаете, Людмила Павловна?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Я согласна.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Валентинъ, милый, если ты не шутишь . . .

СТОРИЦЫНЪ. Не шевелись, старикъ! Но только какъ это сдѣлать: мнѣ за вами заѣхать или . . . Тревожно. Модестъ, ты мнѣ расписаніе дай, у тебя есть расписаніе?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. До свиданія, Елена Петровна.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Куда же вы?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА не отвѣчая. Вы не можете сегодня проводить меня, Валентинъ Николаевичъ?

СТОРИЦЫНЪ. Сегодня?

САВВИЧЪ. Сегодня ему нельзя.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Нѣтъ, отчего же? Конечно, пусть пройдется, здѣсь такъ накурено.

СТОРИЦЫНЪ строго. Съ удовольствіемъ, Людмила Павловна . . . Я сейчасъ же вернусь, Елена.

Княжна прошается однимъ поклономъ, не протягивая руки: Елена Петровна провожаетъ ее, Модестъ Петровичъ и Сторицынъ идутъ сзади.

СТОРИЦЫНЪ на порогѣ. Ахъ, да: не забудь же дать мнѣ мелочи, Елена, я назадъ на извощикѣ . . . И гдѣ мой портсигаръ? Здѣсь!

Выходятъ. Саввичъ и Мамыкинъ одни.

САВВИЧЪ. Видалъ миндалъ?

Мамыкинъ хихикаетъ.

САВВИЧЪ. Ты, Мамыкинъ, смѣешься, а меня возмущаетъ вся эта профессорская порнографія. Что понимаетъ дѣвченка, да еще изъ такой семьи?

МАМЫКИНЪ. А развѣ онъ? . .

САВВИЧЪ. Почемъ я знаю, я не шпіонъ.

МАМЫКИНЪ. Она сама завлекаетъ.

САВВИЧЪ. Не понимаетъ, оттого и завлекаетъ.

МАМЫКИНЪ. Она насъ презираетъ, Гаврилъ Гаврилычъ. Гордячка!

САВВИЧЪ. Т. е., кого это, насъ — меня?

МАМЫКИНЪ. Да и васъ. Я все время глядѣлъ на нее, какъ она на васъ посматривала, благодарю покорнѣйше.

САВВИЧЪ. А вотъ я ее въ слѣдующій разъ ощиплю, какъ галку: будетъ знать. Не любятъ они правды, Мамыкинъ. Пойди сюда. Ты видалъ, какой письменный приборъ у знаменитѣйшаго? — посмотри.

МАМЫКИНЪ. Чего я тамъ не видалъ?

САВВИЧЪ. Нѣтъ, ты посмотри. — Чистѣйшая бронза! Нѣтъ, ты на руку взвѣсь. Что?

МАМЫКИНЪ. Да . . .

САВВИЧЪ. Тысячи двѣ, какъ одна копѣечка, тебѣ, пролетарію, такихъ денегъ и не представить.

МАМЫКИНЪ. А на прислугѣ лица нѣтъ, загоняли, какъ лошадь. Что жъ, прочтетъ онъ мою рукопись когда, или нѣтъ, до какихъ же поръ я ждать буду?

САВВИЧЪ. Некогда.

МАМЫКИНЪ. А провожать есть когда? Люди!

САВВИЧЪ. Потерпишь.

МАМЫКИНЪ. Я потерплю! Я потерплю! Да Боже жъ ты мой: какъ не просыпался у меня талантъ, такъ думалъ я: вотъ они настоящіе то люди, литература то наша, ученые то наши. А какъ пошелъ ходить—что такое!! Одна черная зависть, одно хамство, чуть чуть собаками не травятъ, по три часа въ передней съ лакеями держатъ. Вижу я: схватился человѣкъ за свой сладкій кусокъ, и ажъ дрожитъ—какъ бы кто не вырвалъ. Жилъ я цѣльный мѣсяцъ у Сохонина: всей Россіи извѣстный писатель, народный печальникъ . . .

САВВИЧЪ. Выдохся твой Сохонинъ, и охота была къ нему ходить.

МАМЫКИНЪ. Всей Россіи извѣстный писатель, а что у него въ домѣ дѣлается? Только и видишь, что жрутъ: ночь ли, полночь ли . . .

Входитъ Елена Петровна.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Господа, ужинать. Сергѣй и Модестъ уже за столомъ. Идемте скорѣе, Мамыкинъ.

САВВИЧЪ хохочетъ. Ночь ли, полночь ли . . .

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Что вы смѣетесь? Мамыкинъ, пройдите, пожалуйста, впередъ, мнѣ нужно нѣсколько словъ сказать Гавріилу Гавріиловичу.

САВВИЧЪ. Что еще такое?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Нужно, разъ говорю. Идите, идите, скажите тамъ, что я сейчасъ.

Мамыкинъ уходитъ.

САВВИЧЪ. Что это за тонъ? Я сколько разъ тебѣ говорилъ, чтобы такимъ тономъ ты не смѣла со мной разговаривать! Скажите, пожалуйста.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Гавріилъ, сегодня я весь день плачу. Это ужасно, я съ ума схожу. Гавріилъ, во имя всего святого я умоляю тебя: продай бумаги, хоть на три тысячи, хоть на двѣ. Я съ ума схожу!

САВВИЧЪ. Я вамъ уже объяснялъ, что сейчасъ при теперешнемъ состояніи биржи мы ничего продавать не можемъ . . . Поняли? Поняли или нѣтъ?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Я ничего не понимаю. Меня подъ судъ, я на себя руки наложу.

САВВИЧЪ. Вздоръ-съ! Выпутаетесь! Позвольте, что я вамъ мальчикъ? Такъ я вамъ и повѣрю, что у васъ съ профессоромъ двухъ тысячъ нѣтъ? Что я, мальчикъ?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Двухъ копеекъ нѣтъ. Завтра на обѣдъ нечего.

САВВИЧЪ. Въ старыхъ юбкахъ покопайтесь: не зашито ли.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Какъ вы смѣете, наконецъ! Я плачу, я обращаюсь къ вамъ, какъ къ порядочному человѣку, а вы ведете себя какъ на улицѣ.

САВВИЧЪ. Что-съ?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА задыхаясь. Вы грубы, какъ пьяный сапожникъ. Я съ ума схожу, когда говорю съ вами. Какая низость. Вы не смѣете такъ говорить въ этомъ домѣ, да, да, не смѣете. Вы забыли, въ какой домъ вы пришли. Вы . . . извозчикъ. По какому праву вы смѣете кричать на меня, когда даже мужъ... даже мужъ...

САВВИЧЪ. По праву вашего любовника, Елена Петровна. И если я себя веду какъ сапожникъ, то вы ругаетесь какъ кухарка. Стало быть — квиты.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Вы ограбили меня!

САВВИЧЪ угрожающе. Что такое? Прошу повторить! Что такое вы изволили сказать?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Прости меня, Гавріилъ, я не буду. Но я не могу слышать, когда ты такъ говоришь со мной. Зачѣмъ ты презираешь меня . . . Вѣдь не дѣвченка же я, я мать, меня всѣ уважаютъ. Ну, объясни, если я чего нибудь не понимаю, но зачѣмъ же такъ грубо, съ такимъ презрѣніемъ, съ такой насмѣшкой . . . Когда ты такъ говоришь со мною, я потомъ не смѣю никому въ глаза взглянуть, мнѣ начинаетъ казаться, что я не жена профессора, образованная женщина, которая читаетъ книги, которая говоритъ на языкахъ, а переодѣтая кухарка, которую только что побилъ ея кумъ. Уважай меня хоть немного, Гавріилъ, я не могу безъ уваженія — я руки на себя наложу.

САВВИЧЪ. А вы меня уважаете? Позвольте, позвольте, кто это кричалъ сейчасъ: грабитель? Со мной нельзя такъ обращаться, сударыня и если я хоть разъ только услышу . . . Что-съ?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ну, прости. Ну, объясни.

САВВИЧЪ. Объяснять? Отворачивается и становится въ озу. Дура.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Но это такъ трудно! Я ничего не понимаю въ твоей игрѣ. Почему нельзя продать бумагъ хоть на двѣ тысячи? Я же не говорю, что надо всѣ продать . . .

САВВИЧЪ. Ограбилъ, подлецъ! А куда вы съ вашимъ профессоромъ пойдете, какъ съ голоду начнете издыхать? — ко мнѣ же! Кто ваши деньги оберегаетъ, самъ съ вами рискуетъ, трудовыхъ денегъ не жалѣетъ! Вѣдь если за вами не смотрѣть, такъ вы дѣтей голыхъ на улицу пустите, спичками торговать. Что у васъ за хозяйство: десять рублей за тысячу папиросъ платите, абонементъ въ оперѣ имѣете . . . въ музыкѣ ни уха, ни рыла, а тоже — абонементъ! Первое представленіе! Эстетика! Литература! Идеи! . . А кто два года за дрова не платилъ, ко мнѣ же и со счетами лѣзете. Ты Бога благодарить должна, что встрѣтился на пути честный человѣкъ съ твердымъ характеромъ . . .

Открывается дверь.

СЕРГѢЙ съ порога кричитъ. Что же ты, мама! Это безобразіе! Два часа сидимъ за столомъ, мнѣ заниматься надо.

САВВИЧЪ. А ты не изволь кричать, хулиганъ! Вонъ!

СЕРГѢЙ отступая. Что же это такое, наконецъ. Тутъ вамъ не гимназія, Гаврилъ Гаврилычъ, вы въ частномъ домѣ и . . .

САВВИЧЪ. Елена Петровна!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА поспѣшно. Иди, иди, Сергѣй. Развѣ вамъ еще не подавали? Я сейчасъ, я только два слова . . . о здоровьи папы. Иди.

Дверь со стукомъ захлопывается.

САВВИЧЪ. Хулиганъ. Вы еще дождетесь, онъ себя покажетъ . . . мрачная рожа!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Прости меня. Ты очень разволновался, Гавріилъ?

САВВИЧЪ. Пустите мою руку.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА цѣлуя его въ щеку. Ну, прости. Только не оставляй меня, я съ ума схожу.

САВВИЧЪ. Подъ вексель возьми.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Постараюсь.

САВВИЧЪ. Продавать сейчасъ нельзя.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Хорошо. Поцѣлуй меня, Гаврильчикъ. Я такъ одинока, я такъ боюсь всего. Поцѣлуй меня, не оставляй.

САВВИЧЪ нехотя цѣлуетъ. Зачѣмъ ты такъ пудришься, притронуться опасно.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Это я отъ слезъ. Ну, пойдемъ, а то все уже перегорѣло. Ахъ, Боже мой, Боже мой.

Занавѣсъ.

Второе дѣйствіе.

Озерки. Маленькая, ветхая дачка съ терасской; некрашеныя доски и подгнившіе столбы темны отъ сырости, кое гдѣ зеленѣютъ мхомъ. Сентябрьскій погожій день полонъ солнца, тишины и золотого покоя. Березовая рощица, въ которой стоитъ дача, рябины и молоденькіе, недавно посаженные клены у забора, по осеннему золотятся и багровѣютъ. Нѣжный голубой туманъ уже въ сотнѣ шаговъ родитъ впечатлѣніе дали, дѣлаетъ воздушнымъ и легкимъ, какъ паутину, все тяжелое и прикрѣпленное къ землѣ. За низкимъ частокольчикомъ видны другія, такія же маленькія и тѣсныя дачки — теперь онѣ пусты и покойны, какъ сонъ. Только большая дача черезъ дорогу, наискось, еще занята; туда наѣхали воскресные гости — много молодыхъ дѣвушекъ, студенты. Время отъ времени звучитъ рояль. Отъ недалекой станціи доносятся свистки проходящихъ поѣздовъ.

Въ садикѣ на скамейкѣ полулежитъ Володя, лѣниво покусываетъ поднятый съ земли лапчатый кленовый листъ. Одѣтъ онъ, какъ рабочій: сѣрая, коломянковая блуза съ ременнымъ поясомъ, высокіе сапоги, ниже колѣнъ охваченные ремешкомъ. Шурша палымъ листомъ, безпокойно прохаживается по дорожкѣ Модестъ Петровичъ; на немъ старенькій, но чистенькій сюртукъ изъ чернаго сукна, мягкая фетровая шляпа. При сѣдыхъ кудряхъ, ложащихся на воротъ, онъ похожъ на стараго художника — неудачника. Часто посматриваетъ на часы, всѣмъ видомъ выражаетъ тяжелое безпокойство и тревогу.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ бормочетъ. Ахъ, Боже мой, Боже мой . . . — Ты что сказалъ, Володя?

ВОЛОДЯ. Я, ничего. Лежу.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Лежу . . . — Эхъ, Володя: лежу. А ты когда нибудь стоишь или ходишь? Нельзя быть такимъ лѣнивымъ, невозможно . . .

ВОЛОДЯ. Я не лѣнивъ. Кабы машину не сломали, я бы сегодня обязательно полетѣлъ. Насъ учится пятнадцать человѣкъ, а машина всего одна, да и ту каждый разъ кто нибудь сломаетъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Воробьевъ пугать? То, скажутъ, чучела на землѣ стояли, а теперь летать начали. Никуда ты не полетишь — молчи.

ВОЛОДЯ. Я ужъ леталъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. И не вѣрю.

ВОЛОДЯ. Метровъ на сорокъ два. Вы лучше посмотрите, чѣмъ клеветать.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Клеветать? . . Да кто ты, скажи на милость: сынъ ли ты профессора Сторицына или вообще какая то фигура? . . Монтеръ не монтеръ, шофферъ не шофферъ, — чортъ тебя знаетъ, кто ты. Сапоги. А вѣдь я помню тебя въ бархатной курточкѣ, съ кудрями, какъ у ангельчика. Ну и дѣтки, ну и дѣтки . . . Ну и жизнь, ахъ Боже мой . . .

ВОЛОДЯ. Не огорчайтесь, дядя. Не всѣмъ же быть вундеркиндами.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Вундеркиндъ? . . Вундеркиндовъ, братъ, изъ гимназіи не выгоняютъ, вундеркинды, братъ, въ сапогахъ не ходятъ . . . э, да что ты, мѣшокъ, тюлень, сапогъ летающій, понимаешь въ вундеркиндахъ? Безъ тебя тошно, а тутъ ты еще — позорище . . . Живетъ съ какимъ то пьяницей, опростился . . .

ВОЛОДЯ. И опять клевета. Михаилъ Иванычъ вовсе и не пьяница, и вамъ двадцать очковъ впередъ дастъ. У насъ, вы думаете, грязь или какое нибудь безобразіе? И вовсе нѣтъ: чисто, какъ на Рождество, два раза полъ метемъ, а книгъ мало мало меньше, чѣмъ у папахена. Михаилъ Иванычъ за книжку человѣка разорвать готовъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Такъ ты и читаешь?

ВОЛОДЯ. Я нѣтъ, а Михаилъ Ивановичъ читаетъ. У насъ такой уговоръ: все вмѣстѣ, а керосинъ врозь, мнѣ не выгодно. Михаилъ Ивановичъ, дядя, замѣчательный человѣкъ. Это вы только и умѣете, что ругаться — Володька, да сапогъ, а Михаилъ Иванычъ никогда не ругается.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Никогда?

ВОЛОДЯ. Никогда.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Нѣтъ, правда?

ВОЛОДЯ. Никогда. Мы съ нимъ даже на вы говоримъ: Михаилъ Иванычъ и Владиміръ Валентинычъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Какіе милостивые государи. Ну, живите, Господь съ вами, кто васъ тамъ разберетъ, милостивыхъ государей. Ахъ, Боже мой, Боже мой. Смотритъ на часы. Теперь ѣдутъ.

ВОЛОДЯ. А вы, дядя, какъ будто и не рады папахену? Я бы на вашемъ мѣстѣ радовался.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Не радъ? — что значитъ, Володя, это слово не радъ, когда на душѣ — чортъ знаетъ что. И день вдобавокъ такой божественный, тутъ бы радоваться, тутъ бы ликовать, а вмѣсто того: позоръ и убійство человѣка. Позоръ и убійство человѣка — вотъ какъ, Володя. Самъ съ тобою болтаю, а самъ все на калитку гляжу: вотъ покажется Телемаховъ — ну и конецъ. Убійство.

ВОЛОДЯ приподымаясь. Я ничего не понимаю, дядя. Сережка что нибудь, или мама?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Молодъ ты еще знать, и о матери говорить рано. Позоръ.

ВОЛОДЯ. Я и такъ все знаю.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Ничего ты не знаешь . . . Однимъ словомъ, каталъ я вчера по всему городу, доставалъ двѣ тысячи для Елены — ну и могу я достать развѣ? Не досталъ, конецъ. Конецъ, Володя.

ВОЛОДЯ. Папахену конецъ?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Какой это ужасъ — быть безсильнымъ и трусомъ. Ворочаюсь и плачу, какъ во снѣ,

а даже крикнуть — и то нѣтъ силъ. Какъ я вчера умолялъ Телемахова, чуть на колѣни не падалъ, плакалъ, братъ, — нѣтъ. Самому Валентину Николаевичу въ руки дамъ, а вамъ съ сестрицей — ни копейки. Жестокій, неприступный человѣкъ. И если сегодня къ двѣнадцати Елена не достанетъ, то . . . Володя, голубчикъ, можетъ ты знаешь денежнаго человѣка, авіатора какого нибудь? Нѣтъ?

Молчаніе.

ВОЛОДЯ. Я, дядя, три мѣсяца отъ мамы содержанія не получаю, за этимъ было и къ вамъ зашелъ, чтобы вы подѣйствовали. Я ей писалъ заказнымъ, да никакого толку, не отвѣчаетъ. Пробовалъ я голодать, да меня Михаилъ Иванычъ обнаружилъ, теперь слѣдитъ за мной. А какія у него деньги? У нихъ же и забастовка на носу. Значитъ, теперь и намъ крышка.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Ай-ай-ай, что же это такое. Что же ты самъ не зашелъ, не потребовалъ?

ВОЛОДЯ. Я отъ нихъ, дядя, отрекся, и нога моя тамъ не будетъ до самаго скончанія живота; развѣ только съ машиной къ нимъ упаду, такъ и то постараюсь, чтобы мимо ахнуть. Да вы обо мнѣ не грустите, я устроюсь. Эхъ, папахенъ . . .

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Писалъ ему?

ВОЛОДЯ. Папахену? Ну нѣтъ, зачѣмъ же я его безпокоить буду, сами посудите. Ну, я пойду, поѣздъ засвистѣлъ, дайте полтинникъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. На пять рублей, все равно деньги то отцовскія. А то подождалъ бы?

ВОЛОДЯ. Нѣтъ, зачѣмъ его безпокоить. Спасибо, дядя. Ну что вы на меня смотрите, дядя, конфузите меня, я этого не люблю, право. Эхъ, дурачье, машину сломали, полетать бы сегодня. Пойду той дорогой, а то встрѣчусь. Вы меня, дядя, какъ оглоблей по головѣ, даже затылокъ свернулся.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. И день то какой чудесный . . .

Идутъ. Модестъ Петровичъ останавливается и шепчетъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Саввичъ.

ВОЛОДЯ. Да?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ молча киваетъ головой.

Идутъ.

ВОЛОДЯ. Убить бы его слѣдовало.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ останавливается и снова шепчетъ. Это мой ужасъ, Володя, мой ночной кошмаръ. До чего дошло: каждую ночь его вижу, и все одинъ и тотъ же сонъ . . . Нѣтъ, послушай: сидитъ будто папахенъ въ какомъ то многолюдномъ собраніи, много вѣнковъ и цвѣтовъ, знаешь, вообще такой почетъ, нѣкоторые даже плачутъ . . . и вдругъ, подходитъ къ нему Саввичъ и говоритъ при общемъ молчаніи: вы меня оскорбили, профессоръ, а я никому не позволю себя оскорблять, мнѣ наплевать, что всѣ на васъ молятся, а вотъ вамъ отъ меня — пощечина. И бьетъ, понимаешь, бьетъ, прямо по лицу бьетъ . . .

ВОЛОДЯ тяжело сопя и исподлобья глядя на Модеста Петровича. А меня на этомъ собраніи нѣтъ? За такой сонъ, дядя, васъ самого можно . . .

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Стой — кажется его голосъ? Идутъ. Ну, ну, живѣй, братъ, а мнѣ поулыбаться надо. Пріучить лицо . . . да, да поулыбаться. Такъ, такъ.

Володя уходитъ. Модестъ Петровичъ одинъ — неестественно скалитъ зубы, улыбается, привѣтливо кланяется и разводитъ руками.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ бормочетъ. Дорогой мой, какъ я радъ. Какой день. Княжна, наконецъ то . . . Ерунда, ерунда на постномъ маслѣ . . . Дуракъ, ничтожество. Какъ я радъ, княжна . . .

Къ калиткѣ подходятъ Сторицынъ и княжна. Модестъ Петровичъ устремляется къ нимъ навстрѣчу.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Какой день, Валентинъ, а? Позвольте, позвольте, княжна, я открою, вы не сумѣете.

Какой день . . . Какъ доѣхали, не тѣсно ли было, по воскресеньямъ всегда народъ. Пожалуйста, Людмила Павловна. Видали, сколько на ту дачу народу наѣхало, и все ваши курсистки. Неужели тебя не узнали, Валентинъ Николаевичъ?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Одинъ студентъ поклонился, но очень скромно. Мнѣ это очень понравилось.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Еще бы! . . Сейчасъ чай. Ну, какъ, Валентинъ?

СТОРИЦЫНЪ. У тебя чудесно! Но сколько дачъ и все такія маленькія.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Лѣтомъ шумно, а осенью и зимой очень хорошо. Ну, какъ доѣхали? Я чай приготовилъ въ комнатахъ, Людмила Павловна, но можетъ быть, на терассу перенести? Я перенесу. Вы не боитесь холоду, княжна: такъ тепло.

СТОРИЦЫНЪ. Постой . . . Это музыка? Послушайте, Людмила Павловна, музыка.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. На той дачѣ. Прекрасно играетъ!

СТОРИЦЫНЪ. У тебя чудесно. Ты счастливецъ, Модестъ!

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Ну, вы слушайте, Валентинъ Николаевичъ, а я хочу взглянуть . . . Покажите, Модестъ Петровичъ, какъ вы устроились? Это терасса, на которой будемъ пить чай?

Беретъ его подъ руку и ведетъ къ дому.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. У васъ совсѣмъ хорошо, Модестъ Петровичъ. Это терасса? — Модестъ Петровичъ, мнѣ необходимо переговорить съ Валентиномъ Николаевичемъ. Тише . . . это для него. — Нѣтъ, потомъ взгляну, а пока надо послушать . . . Не обращайте на насъ вниманія, Модестъ Петровичъ, хорошо?

Подходитъ къ Сторицыну. Оба слушаютъ музыку. На терассѣ Модестъ Петровичъ хлопочетъ съ кухаркой у стола, часто поглядывая на калитку.

СТОРИЦЫНЪ. Когда радости слишкомъ много, она переходитъ въ грусть. Мнѣ неловко сознаваться, это можетъ показаться сентиментальностью, но я растроганъ . . . до смѣшного. Меня все сегодня удивляетъ, меня удивляетъ воздухъ и это солнце — солнце осени. Меня удивляютъ желтые листья, ихъ цвѣтъ, ихъ рисунокъ; когда листъ падаетъ и ложится на мое плечо, мнѣ кажется это необыкновеннымъ, полнымъ таинственнаго смысла. Или я никогда до сихъ поръ не видалъ осени, или это вовсе не осень, а необыкновенное чудо, міровое событіе, переселеніе народовъ . . . Вы слушаете?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Говорите.

СТОРИЦЫНЪ. Я вижу, что и люди сегодня другіе, въ глазахъ у нихъ золото и лазурь. И почему музыка? — это меня удивляетъ. Искалъ ли я музыки и вотъ нашелъ ее, или она меня ждала, но вотъ мы встрѣтились — и все такъ чудесно — и я смотрю на васъ — и въ вашихъ глазахъ золото и лазурь . . .

Людмила Павловна хмуро опускаетъ глаза. Молчаніе. Сторицынъ улыбается и сверху внимательно смотритъ на дѣвушку.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Зачѣмъ вы меня мучаете, Валентинъ Николаевичъ?

СТОРИЦЫНЪ. Развѣ? Серьезно. Такъ надо.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Нѣтъ, такъ не надо. Вы сомнѣваетесь въ моей силѣ?

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ, я вѣрю въ вашу силу. И въ гордость вашу вѣрю, Людмила Павловна.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Гордость? Не знаю. Но съ тѣхъ поръ, какъ я стала думать, я сдѣлалась сильнѣе всѣхъ на свѣтѣ. Вамъ, привыкшему размышлять, все видѣть и понимать — вамъ трудно представить, что это значитъ, когда человѣкъ — впервые началъ думать. Живешь, какъ въ ураганѣ, все разрушается и падаетъ быстрѣе, чѣмъ при землетрясеніи. Вокругъ меня — однѣ развалины, Валентинъ Николаевичъ. Но вы еще молчите? Если

я захочу, я завтра же могу уйти, и никто, ни отецъ, ни братья не посмѣютъ даже взглянуть на меня. Но вы еще молчите? Отчего вы такъ поблѣднѣли вдругъ? Сегодня я рѣшила все сказать.

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Вы не хотите? Мнѣ надо молчать? — что-жъ, я молчу.

Молчаніе.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Она была похожа на меня, та дѣвушка, которой вы никогда не сказали о вашей любви?

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ, это была бѣдная дѣвочка въ рваномъ пальто. Она умерла отъ чахотки.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА сурово. Я хотѣла бы пойти на ея могилу и сказать ей.

СТОРИЦЫНЪ. Я не знаю, гдѣ ея могила. Я не знаю, гдѣ могилы моихъ надеждъ и радостей: онѣ разсѣяны по всему міру. Иногда весь міръ для меня только кладбище, а я — нѣмой сторожъ при могилахъ. — Но сегодня со мной творится что-то чудовищное. Я такъ радостенъ, что это становится болью, страданіемъ . . . и отъ этого я блѣднѣю. Раскрылись могилы, и воскресли мертвецы. Со всего міра внезапно упала его тяжкая завѣса — и я вижу осіянные чертоги моей мечты. Вотъ то, чего еще никто не слыхалъ отъ меня, слова, которыя нужно забыть, какъ только ихъ услышишь . . . И вы забудьте!

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да.

СТОРИЦЫНЪ. Всю жизнь и во всемъ: въ моей наукѣ, въ моихъ книгахъ, въ людяхъ и вещахъ, радуясь и страдая, я искалъ одно: ее, чистую, безъ истлѣнія Бога-Слово родшую. Образъ ли это человѣка, дѣвушки, женщины, или самой красоты — я не знаю. Сегодня съ міра упала завѣса, и я вижу нетлѣнное во всемъ: можетъ быть это красота, а можетъ быть — вы. Я думаю, что это — вы.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Мнѣ страшно.

СТОРИЦЫНЪ. Да. Страшныя слова, трагическій завѣтъ, и мнѣ хочется обнажить голову, когда только въ мысляхъ моихъ, только въ головѣ моей прозвучатъ они. Есть на свѣтѣ матери многихъ дѣтей, оставшіяся дѣвушками . . . и есть грудныя дѣвочки — растлѣнныя, какъ проститутки! . . Простите, княжна.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Говорите.

СТОРИЦЫНЪ. Въ небѣ надъ нами я вижу нетлѣнное; нетлѣнное я вижу въ вашихъ глазахъ . . . и да сохранитъ васъ Богъ, Людмила Павловна! Когда вы выйдете замужъ... да, да, выйдете замужъ, то во имя того человѣка, который будетъ любить васъ, во имя моей любви, всей моей жизни, я говорю вамъ: сохраните нетлѣнное. Помните, что только безъ истлѣнія рождаютъ женщины Бога-Слово, а иначе у нихъ родятся . . . только дѣти.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да.

СТОРИЦЫНЪ. Осторожнѣе: ваше да звучитъ какъ клятва.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да. Это и есть клятва. Но развѣ и теперь, когда я поклялась, я должна молчать? Я не хочу молчать. Или вы только одинъ искали и мучились? Я тоже искала, тысячу тысячъ лѣтъ и ждала и искала, и когда я нашла, мнѣ говорятъ: нѣтъ. Молчи! Забудь! Я не дѣвочка, которая можетъ позволить себѣ умереть отъ чахотки, и я не стану умирать. Вы также горды, и я сегодня поняла васъ: вы боитесь вульгарнаго романа между профессоромъ и красивой курсисткой, вы боитесь . . .

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ.

Молчаніе.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА пугаясь. Извините меня, я кажется оскорбила васъ, Валентинъ Николаевичъ. Простите меня. Сегодня . . .

СТОРИЦЫНЪ. Сегодня мы видимся послѣдній разъ. И я васъ люблю — отчего же мнѣ не сказать и этого? И я отчаянно, непередаваемо одинокъ въ этомъ мірѣ моихъ

могилъ — отчего же мнѣ и этого не сказать? Все можно сказать, все могу сказать, и все это значитъ только одно: я вижу въ послѣдній разъ ваше лицо, Людмила Павловна.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Я знаю: вы хотите отъ меня подвига? Ваша красота — подвигъ?

СТОРИЦЫНЪ. Да. Моя красота жизни — подвигъ. Вы молоды — живите. Кто ищетъ подвига, тотъ всегда найдетъ его, и когда найдете вы и совершите, и ваша жизнь станетъ прекрасна, какъ ваше лицо, — тогда придите ко мнѣ. Пусть это будетъ тогда только моя могила — я изъ могилы отвѣчу вамъ, подниму могильный камень и отвѣчу.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. А если это будетъ моя могила?

СТОРИЦЫНЪ. Тогда я приду на нее, и вы услышите мой голосъ. Но сейчасъ... не оскорбляйтесь, княжна: сейчасъ я еще... не совсѣмъ... вѣрю вотъ въ эту вашу красоту. Да, я вижу нетлѣнное въ вашихъ глазахъ, но Боже мой! . . — я уже не молодъ, княжна, надо говорить правду, и мнѣ будетъ стыдно, ужасно стыдно, если . . . мнѣ и сейчасъ немного стыдно, княжна, и только вотъ это золото и лазурь нѣсколько оправдываютъ меня. Честное слово, мнѣ вдругъ захотѣлось покраснѣть. Забудьте. — Вамъ больно, Людмила Павловна?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да. Ничего. Простите меня, я очень виновата.

СТОРИЦЫНЪ. Но вы можете улыбнуться?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Для васъ — да.

СТОРИЦЫНЪ гнѣвно и страстно. Ахъ, если бы вы знали! . . Сдержанно и почти шутливо. Ничего, я также улыбаюсь. Меня многіе считаютъ слѣпцомъ, Людмила Павловна, а я вотъ никакъ не могу понять: слишкомъ ли я слѣпъ — или слишкомъ зрячъ? Но въ концѣ концовъ, то и другое — слѣпота.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ издали. Профессоръ Валентинъ, чай готовъ.

СТОРИЦЫНЪ. Сейчасъ. Тихо. Деликатнѣйшій человѣкъ! — Вы знаете, онъ нарочно насъ оставилъ, чтобы мы могли поговорить . . . Вы улыбаетесь? Честное слово, мнѣ опять захотѣлось покраснѣть, это становится глупо. Идите, дорогая, я хочу побыть одинъ. Когда вы рядомъ, время бѣжитъ убійственно быстро, а его такъ мало . . . Да, да, улыбайтесь, улыбайтесь, ибо сказано про день сегодняшній: да будетъ свѣтъ и да будетъ счастье.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Сейчасъ, Модестъ Петровичъ, я иду. — А завтра?

СТОРИЦЫНЪ. Кто знаетъ завтра? — Идите, дорогая, а то Модестъ начнетъ что-то подозрѣвать, ужасный старикашка.

Княжна идетъ на терассу, съ каждымъ шагомъ становясь все сумрачнѣе и строже. Сторицынъ сосредоточенно думаетъ, лицо его ясно и спокойно.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Пожалуйте, Людмила Павловна, чай готовъ. Не крѣпко ли я налилъ, я неумѣлый хозяинъ, такъ рѣдко принимаю гостей, что . . . Какой прекрасный день! . . Что съ нимъ, княжна, отчего вы такъ . . . простите, можетъ быть я не смѣю, но вы очень разстроены?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Съ нимъ? — я не знаю. Но что съ вами? Вы больны или что нибудь случилось?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Да.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. У нихъ въ домѣ?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Да. Ахъ, если бы вы знали . . . Я глазъ не свожу съ калитки. Если сейчасъ придетъ одинъ человѣкъ, то . . . Княжна, можетъ быть это нескромно, но я долженъ сказать, вы одна только можете . . . Спасите его! Елена моя сестра, но . . . Неестественно громко. Не крѣпокъ чай, а? Я налью другого.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Но развѣ онъ можетъ позволить, чтобы его спасали? Горько смѣется. Вы бы взяли мою жизнь, Модестъ Петровичъ?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Не только я, княжна, но вся Европа . . . Надо его звать.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Намъ надо быть на свиданіи. Я вамъ напишу, когда, хорошо? Онъ ничего не хочетъ говорить о своей жизни, а мнѣ надо знать все — для него, понимаете? Съ тѣмъ же горькимъ смѣхомъ. Вѣдь спасаютъ же людей насильно!

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ рѣшительно. Конечно, конечно. — Валентинъ Николаевичъ, твой чай остылъ, голубчикъ. Иди.

СТОРИЦЫНЪ. Иду.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ тихо и торопливо. А мы вотъ что: мы возьмемъ да и уйдемъ куда нибудь, пусть ищетъ. О, Господи. — Ну и денекъ сегодня, Валентинъ, это не день, а настоящій, какъ бы это сказать . . . что есть такое подходящее? Вотъ твой стаканъ. Кстати, забылъ сказать: сегодня у меня былъ Володя, такой вообще чудакъ, очень милый юноша.

СТОРИЦЫНЪ переставая улыбаться. Владиміръ? — отчего же онъ не остался и не подождалъ меня? Жаль. Это мой старшій сынъ, Людмила Павловна.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Вы его любите?

СТОРИЦЫНЪ. Да. — Но у тебя прекрасно, старикъ, что я начинаю смотрѣть на тебя съ благоговѣніемъ. Ты магъ и волшебникъ: ты колдуешь и отъ этого все сегодня удается мнѣ. Ну развѣ дома мнѣ позволили бы пить такой деготь вмѣсто чаю? . . нѣтъ, нѣтъ, оставь.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Я давно не видалъ тебя такимъ, Валентинъ Николаевичъ.

СТОРИЦЫНЪ. Да? А развѣ я еще когда нибудь былъ такимъ? Такимъ два раза не бываютъ — какъ не родятся два раза и два раза не умираютъ. Сегодняшній день записанъ въ книгѣ судебъ, старикъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Не пройтись ли намъ въ рощицу?

СТОРИЦЫНЪ. Сейчасъ не надо думать, Людмила

Павловна. Что-жъ, можно и въ рощицу. А нѣтъ ли у тебя горы, Модестъ, хотя бы небольшой?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Извини, Валентинъ Николаевичъ, горы нѣтъ. Есть бугорки, но . . .

СТОРИЦЫНЪ. Жаль. Мнѣ бы хотѣлось сегодня взойти на высочайшую гору и оттуда взглянуть на землю. Если сегодня даже этотъ кусочекъ земли такъ прекрасенъ, то какъ же все?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. И что нибудь сказать оттуда?

СТОРИЦЫНЪ. Съ горы? Перестаетъ улыбаться и мрачно смотритъ на княжну. Нѣтъ. Вы проникли почти въ самую глубину моихъ мыслей . . . но въ конечномъ выводѣ вы ошиблись, княжна. Нѣтъ, я не пророкъ. Я скромный и тихій русскій человѣкъ, родившійся съ огромной и повидимому случайной потребностью въ красотѣ, въ красивой и осмысленной жизни. У каждаго изъ насъ есть свой палачъ — и мои палачи: грубость — безобразіе — и неблагородство нашей жизни. И мнѣ ли, уже изъязвленному, прошедшему пытку огнемъ и водой, съ часу на часъ вотъ уже десятокъ лѣтъ ожидающему какого то послѣдняго и страшнаго удара — мнѣ ли проповѣдывать съ горы? Но не надо, не надо, дорогая . . . Сегодня я счастливъ, сегодня я радуюсь своей судьбѣ, сегодня я вижу нетлѣнную красоту — будьте же радостны и вы. Улыбайтесь, смѣйтесь, заколдуйте музыку и велите ей играть — громко и всѣмъ Озеркамъ заявите, что сегодня — нашъ праздникъ. Смотрите — Модестъ уже улыбается.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Да, я очень радъ. День, дѣйствительно, необыкновенный. Но не пора-ли въ рощу? — скоро темнѣть начнетъ. А можетъ быть еще чаю, Валентинъ Николаевичъ?

СТОРИЦЫНЪ вставая. Идемъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Идемъ. Шепчетъ. День проходитъ, день проходитъ, княжна.

СТОРИЦЫНЪ радостно. Нѣтъ, ты посмотри, Модестъ,

кто это? Это Телемаховъ ломаетъ калитку. Вотъ радость! Людмила Павловна, вотъ радость! Сбѣгаетъ въ садъ.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА къ Модесту Петровичу. Это тотъ, кого вы ждали?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Тотъ. Тотъ самый.

СТОРИЦЫНЪ. Телемаша, старый другъ! Нѣтъ, вы видите эту козлиную бородку, этотъ древній носъ, осѣдланный очками... Цѣлуются. И еще, и еще. Скорѣе краснаго винца, Модестъ, Телемаша не можетъ безъ винца.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Здравствуйте. Увасъ, Модестъ Петровичъ, не калитка, а проволочное загражденіе. Такъ нельзя.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Отъ коровъ, профессоръ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Нельзя такъ. Я рукавъ разорвалъ.

СТОРИЦЫНЪ любуясь. Юмористъ, Телемаша! Но какъ ты нашелъ меня? Такъ же, какъ эта музыка нашла меня, какъ это солнце? Ты знаешь ли, что сегодня мнѣ все удается.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Такъ и нашелъ, что два часа Озерки изучаю. Вашъ домъ чей?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Королевой.

ТЕЛЕМАХОВЪ. А мнѣ сказали, что Кораблева. Не могутъ адреса правильно записать.

СТОРИЦЫНЪ. Юмористъ, ужаснѣйшій весельчакъ! Ты, значитъ, у насъ въ домѣ былъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Былъ. Ну, какъ ты? Видъ у тебя хорошій.

СТОРИЦЫНЪ. Совсѣмъ хорошо. Спроси у нихъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ага. У васъ тутъ пріятно, и воздухъ сравнительно чистый. Чаю я не хочу, а вина выпью, не безпокойтесь, я самъ привыкъ наливать. — Что это за студенты тамъ? Кричатъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Сегодня праздникъ, гости пріѣхали.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Сколько платите за дачу?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Если на круглый годъ, то двадцать пять въ мѣсяцъ. Не дорого.

ТЕЛЕМАХОВЪ. И не дешево. Сыро? Тутъ ревматизмомъ пахнетъ.

СТОРИЦЫНЪ обнимаетъ Телемахова. Ты очарователенъ, Телемаша. Ты когда шелъ, хоть разъ посмотрѣлъ вокругъ? Ты посмотри: это что? Это что? Пей спокойно и молчи: ревматизма здѣсь нѣтъ. Но и вы хмуритесь, господа: знаете, мнѣ становится неловко за свое веселье.

Входитъ кухарка Феклуша, одѣтая празднично.

ФЕКЛУША. Баринъ, а баринъ . . . Какая то барышня букетъ вамъ принесла, передать велѣла. Нате-ка...

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ беря большой букетъ изъ осенних листьевъ и цвѣтовъ. Барышня? Кому передать?

ФЕКЛУША. Не знаю. Гостю какому то. Сама, говорю, отдайте, такъ она: нѣтъ, говоритъ, какъ же я могу въ чужой домъ? Я на кухню пойду.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ встаетъ и торжественно передаетъ цвѣты Сторицыну. Это тебѣ, Валентинъ Николаевичъ. Теперь и моя хижина стала знаменитой! Жаль, нѣтъ у меня цвѣтовъ, чтобы присоединить ихъ къ этому дары чистой юности . . .

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Вы опять поблѣднѣли, Валентинъ Николаевичъ?

Телемаховъ искоса смотритъ на Сторицына и опускаетъ глаза.

СТОРИЦЫНЪ. Хорошо бы поцѣловать руку, которая собирала цвѣты: вѣроятно это еще маленькая и очень глупенькая ручка. У нея не хватаетъ еще силы поднять камень — и вотъ она приноситъ цвѣты.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Зачѣмъ такъ зло? Они васъ любятъ.

СТОРИЦЫНЪ. А я? . . Но . . . молчаніе, молчаніе, какъ говоритъ Гамлетъ. Гдѣ мое пальто, Модестъ, становится холодно. Тебѣ не холодно, Телемаша?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Терпѣть не могу Гамлетовъ. Впрочемъ, нѣкоторые, вѣроятно, не раздѣляютъ моего вкуса, извиняюсь. Нѣтъ, не холодно.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. А въ рощу, значитъ, такъ и не пойдемъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. А это далеко?

СТОРИЦЫНЪ. Но ты усталъ, Прокопій, мы можемъ и не ходить.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Нѣтъ, отчего же? Вотъ вы, барышня, берите Модеста Петровича и прогуляйтесь, пройдитесь, а мы тутъ немного поболтаемъ, поговоримъ. Погуляйте.

СТОРИЦЫНЪ удивленно. Что такое? Неотложное дѣло? Странно. Мы только позавчера видѣлись.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Да, такъ кое что.

Сторицынъ оглядываетъ всѣхъ, тревожится сильнѣе.

СТОРИЦЫНЪ. Странно! Значитъ ты меня искалъ . . . странно. — Пожалуйста, пройдите, княжна . . . Минутъ двадцать тебѣ довольно, Телемаховъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Довольно. Я самъ въ городъ тороплюсь. Что вы задумались, Модестъ Петровичъ?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Я буду близко, Валентинъ Николаевичъ.

Быстро идетъ къ калиткѣ; за ней Модестъ Петровичъ; Телемаховъ смотритъ вслѣдъ, избѣгаетъ взглянуть на Сторицына.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Она дѣйствительно княжна? — красивая дѣвица. Твоя слушательница?

СТОРИЦЫНЪ. Что случилось? Касается Сергѣя? говори.

ТЕЛЕМАХОВЪ начиная смотрѣть на него. Говорить? Мнѣ вовсе не улыбается, Валентинъ Николаевичъ, быть вѣстникомъ несчастья и врываться въ вашу . . . идиллію. Да. У меня и своихъ дѣлъ достаточно, и я удивляюсь людямъ, которые не желаютъ этого понимать. Ну, ну, не волнуйся, особеннаго ничего, вздоръ! Я тебѣ говорилъ, или нѣтъ, что женѣ, Еленѣ Петровнѣ! — не слѣдуетъ заниматься благотворительностью? Ну, все равно, говорилъ или нѣтъ. Тамъ, въ обществѣ, произошла маленькая растрата.

Смотритъ на Сторицына, тотъ неподвиженъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Тысячи что-то двѣ, пустяки.

СТОРИЦЫНЪ. И подлогъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Да. И подлогъ. Пустяки. Послѣдній срокъ для взноса завтра, да и то только во вниманіе къ твоему имени и положенію. Надо внести, Валентинъ Николаевичъ.

СТОРИЦЫНЪ. У меня нѣтъ денегъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Найди. Надо найти. Иначе судъ и позоръ!

СТОРИЦЫНЪ. Пусть судъ и позоръ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Глупо, Валентинъ Николаевичъ. Я менѣе всего намѣреваюсь покрывать мошенниковъ и растратчиковъ, но до суда ты доводить не долженъ. Кому принесетъ пользу твой позоръ? Не надо, чтобы улица хохотала и глумилась надъ профессоромъ Сторицынымъ. Внеси, надо внести. И какъ не быть деньгамъ? Зарабатывай я столько, я бы домъ на Каменноостровскомъ имѣлъ. Возьми у издателя.

СТОРИЦЫНЪ. Все взято. Но почему это мой позоръ? По твоему, Телемаховъ, это позорно: быть обманутымъ или обокраденнымъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. По моему позорно не имѣть глазъ или . . . умышленно закрывать ихъ. Скажу откровенно: меня уже просили тайно отъ тебя ссудить эти деньги, давали клятвы и прочее . . . но я отказалъ. Тебѣ, Валентинъ, въ руки — хоть все мое состояніе, дѣлай съ нимъ, что хочешь, вѣрю! — но условіе одно: возьми ихъ съ открытыми глазами. Пора.

СТОРИЦЫНЪ. Ты знаешь меня съ дѣтства и думаешь всетаки, что я умышленно закрывалъ глаза?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не знаю. Но не слѣпъ же ты и въ самомъ дѣлѣ? Я не хочу учить тебя, Валентинъ Николаевичъ, и не мнѣ, бездарности, лѣзть въ проповѣдники . . . но такъ нельзя, голубчикъ! У васъ въ домѣ порядочному человѣку бывать нельзя — тошнитъ. Если не можешь справиться, не хватаетъ характера, такъ уйди, брось, не

пачкайся. Я то еще, пожалуй, повѣрю, но другіе не повѣрятъ. Въ концѣ концовъ какъ не видѣть . . . Саввича? Этого, воля твоя, я не понимаю. Не понимаю, хоть разстрѣляй!

СТОРИЦЫНЪ. Это первая растрата?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не знаю. Да и Саввича кто сдѣлалъ такимъ? Я еще не забылъ, какимъ онъ вошелъ; онъ и тогда былъ красавецъ-мужчина, хамъ и мерзавецъ, рыцарь, чтобъ чортъ его взялъ! — но чтобы до такой наглости и спокойствія . . . Онъ и на прислугу кричитъ, онъ и на жену твою кричитъ, онъ и дѣтей твоихъ воспитываетъ, и кто же у васъ въ концѣ концовъ хозяинъ? Онъ, кажется, и тебя жить училъ . . .

СТОРИЦЫНЪ. Ты также учишь меня жить.

ТЕЛЕМАХОВЪ яростно. Прошу не сравнивать!

Молчаніе. Темнѣетъ. На нѣкоторыхъ дачахъ загорѣлись первые вечерніе огоньки. Около станціи тяжело и медленно сопитъ и лязгаетъ желѣзомъ поѣздъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не понимаю. Психологическихъ загадокъ рѣшать не умѣю! Каждая кошка на лѣстницѣ и та знаетъ, а ты какъ съ неба свалился. Впрочемъ, я біологъ и реалистъ, — извиняюсь.

СТОРИЦЫНЪ. Не вѣришь?

ТЕЛЕМАХОВЪ пожимая плечами. Вѣрю. Володька головотяпъ и тотъ ушелъ. Въ концѣ концовъ надо платить, Валентинъ Николаевичъ . . . ты мнѣ позволишь внести деньги?

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ, не позволю.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Значитъ, судъ и позоръ, пусть улица хохочетъ. Японская месть — взрѣзать себѣ животъ, чтобы имъ стыдно было? Не могу удержаться, чтобы дружески не сказать тебѣ, Валентинъ Николаевичъ: трижды глупо! Имъ арестантскія легче, чѣмъ тебѣ свидѣтельское кресло . . . если только свидѣтельское.

СТОРИЦЫНЪ. Да? Во всякомъ случаѣ благодарю тебя за дружеское предложеніе.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не стоитъ. Извиняюсь, что побезпокоилъ.

СТОРИЦЫНЪ. Ты сейчасъ ѣдешь? Мы ѣдемъ съ первымъ поѣздомъ, вѣроятно вмѣстѣ? Я еще разъ благодарю тебя: если не слова твои, о которыхъ позволь мнѣ имѣть свое мнѣніе, то твой поступокъ вполнѣ дружескій. Какъ похолоднѣло, однако.

ТЕЛЕМАХОВЪ пожимая плечами. Не спорю. А какъ твое сердце?

СТОРИЦЫНЪ. Очень хорошо. Я уже принималъ два раза ту микстуру, что ты далъ. Она успокаиваетъ. Потомъ еще нюхать что-то? . . я забылъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Да, если плохо почувствуешь. Завтра къ тебѣ не пріѣхать?

СТОРИЦЫНЪ. Это зачѣмъ? Кстати: какъ вообще твоя практика? Я слыхалъ, растетъ, скоро моднымъ профессоромъ станешь.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Благодарю, недурно. А вонъ и Модестъ.

СТОРИЦЫНЪ. Сейчасъ спросимъ у него росписаніе. Спускаясь съ терассы. Простите, Людмила Павловна, мнѣ необходимо ѣхать домой — сейчасъ же — и намъ приходится прервать нашъ праздникъ. Если этотъ день и записанъ въ книгѣ Судебъ, то нѣсколько иначе, чѣмъ я полагалъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Мнѣ можно съ тобою, Валентинъ?

СТОРИЦЫНЪ. Конечно, мы вмѣстѣ и поѣдемъ. Кстати, ты проводишь и Людмилу Павловну. Когда поѣздъ?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА тихо. Не ѣздите домой!

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Черезъ полчаса, еще успѣемъ. Я только накидку возьму, я сейчасъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. А я потихоньку впередъ пойду, на платформѣ подожду. Я не изъ ходоковъ. Вѣдь и сдѣлаютъ же люди калитку.

Выходитъ. Сторицынъ и Людмила Павловна одни.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА торопливо. Валентинъ Николаевичъ, не ѣздите домой. Не ѣздите.

СТОРИЦЫНЪ. Такъ надо.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Ну тогда — я люблю васъ! Не забывайте, не забывайте!

Молчаніе.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА въ отчаяніи. Вы молчите? Ну тогда — вспомните дѣвочку въ рваномъ пальто. Вы не смѣете ее забыть, не смѣете!

Появляется Модестъ Петровичъ: въ своемъ плащѣ и шляпѣ онъ похожъ на стараго итальянскаго бандита.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Вотъ и я. Съ судорожнымъ весельемъ. И вечеръ то такой божественный. Да вы не торопитесь, времени еще достаточно . . . Погодите, а цвѣты? Цвѣты то мы и забыли. Сейчасъ, сейчасъ! . .

Сторицынъ и княжна молча, двумя темными силуэтами стоятъ у открытой калитки.

Занавѣсъ.

Третье дѣйствіе.

Продолженіе того же дня.

Кабинетъ Сторицына. Огни уже зажжены, но портьеры не завѣшаны и съ улицы, не смотря на двойныя стекла доносится вечерній воскресный шумъ. Въ одно изъ оконъ видно, какъ надъ фронтомъ дома на противоположной сторонѣ вспыхиваетъ электрическая вывѣска-реклама: «скетингъ-ринкъ». На обычномъ мѣстѣ профессора, у его стола сидитъ Саввичъ, въ рукахъ карандашъ, которымъ онъ поигрываетъ во время разговора; наискось, у того же стола, въ креслѣ сидитъ и внимательно слушаетъ его Елена Петровна. Глаза у нея заплаканы и припухли, часто вздыхаетъ.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Говорите, Гавріилъ Гавріилычъ, я слушаю.

САВВИЧЪ. Повторяю и настаиваю, что это даже къ лучшему, что профессоръ узнаетъ про твою игру на биржѣ. Почему? Потому что нарывъ созрѣлъ и долженъ прорваться, какъ говорятъ въ этихъ случаяхъ врачи. Конечно, онъ поволнуется, потому что кому же пріятно, чтобы его деньгами распоряжались безъ спросу, но зато мы сможемъ играть открыто. Мнѣ надоѣла . . .

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Но, Гавріилъ! . . Но ты не знаешь его характера! . .

САВВИЧЪ. Не перебивай, а лучше слушай, что тебѣ говорятъ. Мнѣ надоѣла, повторяю, роль тайнаго приспѣшника, который долженъ прятаться и моргать глазами вродѣ твоего братца-идіота, Модеста. Что я, мошенникъ или честный человѣкъ? Во первыхъ, вмѣстѣ съ вами я рискую моими трудовыми деньгами, скажи ему;

во вторыхъ, какъ въ случаѣ выигрыша, такъ и проигрыша, я участвую сообразно своей долѣ . . .

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Но онъ не пойметъ. Гавріилъ Гавріилычъ! Извини, я слушаю тебя очень внимательно, цѣню каждое твое слово, но онъ не пойметъ, даю голову на отсѣченіе! Онъ очень цѣнитъ тебя и уважаетъ, онъ вѣритъ въ твое безкорыстіе . . .

САВВИЧЪ. Онъ меня знаетъ.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Я такъ тороплюсь . . . Я не могу!

САВВИЧЪ. Говори, время еще есть. Конечно, онъ очень умный человѣкъ, я самъ его уважаю, а съ умнымъ человѣкомъ всегда можно сговориться. Дай только первому пылу пройти.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Нѣтъ, нѣтъ! Увѣряю васъ, Гавріилъ Гавріилычъ, что нѣтъ! У него ужаснѣйшій характеръ, и если онъ не захочетъ чего нибудь понять, то съ нимъ можно съ ума сойти! Онъ скажетъ просто, что это очень плохо, и тогда . . . я не заню . . .

САВВИЧЪ. Плохо? Ну, если онъ не захочетъ понимать, тогда пошли его ко мнѣ, я ему втолкую. Плохо, скажите пожалуйста! Для него же, для его же семьи стараются, а онъ будетъ карежиться и краснѣть, какъ невинность: «ахъ, не надо! ахъ, не хочу, ахъ, я умру отъ стыда»! Не умретъ, знаю я ихняго брата, повидалъ достаточно. Я даже радъ, что есть случай сказать ему правду въ глаза; пусть другіе холопствуютъ, если хотятъ, а мнѣ наплевать, что онъ профессоръ. Я самъ теперь былъ бы профессоромъ, если бы не увлекся женщинами . . . не у всякаго же такой лягушечій темпераментъ!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Но двѣ тысячи? Вздрогнувъ. Я съ ума сойду, Гавріилъ . . .

САВВИЧЪ. Не сойдешь, не съ чего сходить. Позвольте, позвольте, у насъ черезъ недѣлю пятьдесятъ тысячъ будетъ, а я изъ за каприза, изъ-за прихоти стану на улицу деньги бросать? Копейки не пожертвую, скажи

ему, копейки! Одумается, самъ благодарить будетъ. Деньги же, двѣ тысячи пусть возьметъ у Телемахова, а не захочетъ одолжаться у постороннихъ, — понимаешь? — то я могу достать ему подъ вексель, слава Богу, я не мошенникъ и не дамъ пропасть человѣку. Ну — сумѣешь сказать, не напутаешь?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Не знаю, постараюсь. Я очень волнуюсь, Гавріилъ, я едва дышу, у меня всю грудь стѣснило!

САВВИЧЪ. Да ужъ за версту слышно, какъ корсетъ скрипитъ. Это отъ полнокровія, много вы ѣдите. Только разговаривай съ нимъ деликатнѣе, слышишь? Лучше плачь, если не сумѣешь по человѣчески говорить, а не наскакивай, какъ корова на заборъ. Небрежно. Книжку положила?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Да.

САВВИЧЪ. Скажи, что мимоходомъ на Литейномъ увидѣлъ, подумалъ, что ему можетъ пригодиться, интересная книженка. И про Сережку ему обязательно скажи, пусть посмотритъ, каковъ хулиганъ. Скажи, что еслибъ не я, такъ давно бы его Сережку изъ гимназіи выперли, не посмотрѣли бы, что папаша профессоръ . . . Обязательно скажи, не забудь, что я.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Охъ, кажется, звонокъ. Это онъ . . . иди, идите, Гавріилъ Гавріилычъ.

САВВИЧЪ смотритъ на часы. Нѣтъ еще, но скоро будетъ, поѣздъ уже пришелъ. Но однако, я пойду. Слушай, Лена: минутъ на десять я выйду съ Мамыкинымъ, кстати и ветчины къ ужину возьму, а потомъ буду въ столовой.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Да, да, мерси. Но можетъ быть, тебѣ сегодня не приходить, лучше завтра, онъ успокоится . . .

САВВИЧЪ. Убьетъ? Я не трусъ, Елена Петровна. Ну, ну, не волнуйся, въ случаѣ чего я тамъ буду . . . Давай лобъ, я тебя поцѣлую. Цѣлуетъ. Такъ, по родитель-

ски. И пожалуйста, не трусь, Леночка, Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ. Ветчины я сегодня на свои возьму, некогда путаться со счетами. Адье.

Уходитъ. Елена Петровна нѣкоторое время стоитъ у окна, смотритъ на улицу, потомъ садится за столъ, на мѣсто профессора и плачетъ, закрываясь платкомъ. Едва успѣваетъ, услышавъ шаги, встать и оправиться, когда входитъ Валентинъ Николаевичъ. Въ рукѣ у него цвѣты, для которыхъ онъ ищетъ мѣста, видимо, не совсѣмъ ясно отдавая себѣ отчетъ; соображаетъ и бросаетъ цвѣты на столъ. Молчаніе. Елена Петровна нерѣшительно беретъ букетъ.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Можно? Нюхаетъ очень долго. Какой красивый букетъ и такъ хорошо пахнетъ, по осеннему. Осторожно кладетъ букетъ на мѣсто. Ты чаю хочешь, Валентинъ?

СТОРИЦЫНЪ. Да. Звонитъ.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Какая сегодня удивительная погода, трудно въ комнатахъ сидѣть.

Входитъ горничная.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Дуня, чаю Валентину Николаевичу.

СТОРИЦЫНЪ. Пожалуйста, Дуня, покрѣпче.

Горничная выходитъ. Елена Петровна все такъ же нерѣшительно, какъ и все, что она сейчасъ дѣлаетъ, присаживается на кончикъ дивана.

СТОРИЦЫНЪ. У Сергѣя, кажется, гости?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА оживленно. Да, два товарища. Одинъ, Щукинъ, хорошо играетъ на балалайкѣ, просто удивительно, настоящій артистъ! Они скоро уйдутъ. Сережа тоже проситъ балалайку . . . но только я хотѣла сказать тебѣ, Валентинъ, про Сережу . . .

СТОРИЦЫНЪ. Потомъ.

Пока горничная приноситъ чай и уходитъ, въ кабинетѣ напряженное молчаніе. Въ раскрытыя двери ясно слышно, какъ двѣ балалайки играютъ: «по улицѣ мостовой» . . . При закрытыхъ дверяхъ звуки слабѣе, но все еще слышно.

СТОРИЦЫНЪ. Спасибо, Дуня.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Двери закрывайте, Дуняша!

Молчаніе.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Такъ вотъ, Валентинъ, я про Сережу . . . Почти вскрикиваетъ. Прости меня, Валентинъ, пожалѣй, я такъ виновата предъ тобой! Я недостойна тебя!

Падаетъ на диванъ и плачетъ. Молчаніе. Сторицынъ проходитъ по комнатѣ, останавливается за своимъ кресломъ и говоритъ почти беззвучно — точно изъ далекой дали доносится голосъ, эхо прежняго голоса.

СТОРИЦЫНЪ. Ты помнишь, Елена, что десять лѣтъ тому назадъ — при какихъ обстоятельствахъ, я напоминать не буду, я простилъ тебя? Ты помнишь?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Помню.

СТОРИЦЫНЪ. И ты поклялась тогда жизнью и счастьемъ твоихъ дѣтей, что твоя жизнь будетъ навсегда чиста и непорочна. Ты помнишь, Елена?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Помню.

СТОРИЦЫНЪ. Что же ты сдѣлала съ твоей чистотой, Елена?

Молчаніе.

СТОРИЦЫНЪ. Вѣроятно, я очень скоро умру, и кто будетъ однимъ изъ убійцъ моихъ, Елена? И кто убійца нашихъ дѣтей, жизнью которыхъ ты клялась, Елена? И кто убійца всего честнаго въ этомъ домѣ, въ этой несчастной, страшной жизни? Я тебя спрашиваю, Елена?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Прости.

СТОРИЦЫНЪ. Что съ тобою сдѣлалось, Елена, отчего ты истлѣла такъ быстро и такъ страшно? Я помню тебя еще дѣвушкой-невѣстой: тогда ты была чиста, достойна пламенной любви и уваженія. Я помню тебя женой въ тѣ первые годы: ты жила одною жизнью со мной, ты была чиста, ты, какъ другъ, не разъ поддерживала меня въ тяжелыя минуты. Я до сихъ поръ не могу произнести тебѣ слова полнаго осужденія — только за тѣ два года моей

ссылки, когда ты, какъ мужественный другъ, какъ товарищъ . . . Не могу!

Молчаніе.

СТОРИЦЫНЪ. Что ты нашла въ Саввичѣ?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Не знаю. Онъ подлецъ. Прости меня.

СТОРИЦЫНЪ. А . . . Такъ значитъ, это правда! Это правда . . . Это правда . . . А . . . Вотъ что . . . Вотъ что! Такъ.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА со страхомъ. Тебѣ дать воды?

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ. Еще сегодня профессоръ Телемаховъ упрекнулъ меня въ нечестности или глупости, въ томъ, что я нарочно закрывалъ глаза . . . но развѣ онъ, развѣ вы всѣ можете понять, что я честно не хотѣлъ видѣть и не видѣлъ всѣхъ гнусностей вашихъ? Развѣ вы всѣ можете понять, что я честно отрицалъ самые факты. Фактъ! Что такое фактъ, думалъ я, со всею иллюзорностью его движеній и словъ, когда передо мною такой незыблемый камень, какъ твоя клятва, мое достоинство, достоинство всей жизни . . . О, дуракъ, дуракъ!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Не говори такъ про себя! Ты не смѣешь такъ говорить про себя!

СТОРИЦЫНЪ. О, дуракъ, дуракъ! Однажды я ясно видѣлъ, какъ Саввичъ сжалъ . . . подъ столомъ твою ногу — и у меня хватило гордости, сумасшедшей силы принять это за обманъ моего зрѣнія, а не за вашъ обманъ. Пусть, думалъ я, весь мой домъ зашипитъ по змѣиному, пусть я задохнусь въ объятіяхъ гадовъ — я до конца прійму ихъ поцѣлуй, я передъ всѣмъ міромъ буду утверждать, что это люди . . . пока сами не приползутъ и не скажутъ: мы не люди, мы гады. О, гнуснецы! . . Значитъ, все правда. Значитъ, все, что я отрицалъ — весь этотъ міръ предательства, гнусности и лжи — правда? А клятва передъ Богомъ — ложь? Достоинство — ложь? Все правда: и то, что Сергѣй воруетъ и продаетъ мои книги . . .

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ты знаешь это?

СТОРИЦЫНЪ. И то, что кругомъ все разворовано, и то . . . и то, что ты . . . съ Саввичемъ! Еще кто, говори! У насъ бываютъ студенты, трубочисты, полотеры — кого же ты больше любишь, студентовъ или полотеровъ? Говори! Чей сынъ Сережа . . .

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Твой, твой! Клянусь.

СТОРИЦЫНЪ. И что Бога распяли, тоже правда? Говори: распяли Бога или нѣтъ?

Молчаніе.

СТОРИЦЫНЪ. Говори.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ты можешь . . . ты можешь убить меня, но это неправда, что Сережа не твой сынъ. Клянусь тебѣ . . . Я знаю, что я клятвопреступница, и мнѣ нельзя вѣрить, но повѣрь только въ послѣдній разъ: клянусь тебѣ всѣмъ святымъ, что Сережа твой . . . твой сынъ! Да, я преступница, но зачѣмъ ты оставилъ меня, не жалѣлъ меня, зачѣмъ ты . . .

СТОРИЦЫНЪ. Я? Я не жалѣлъ тебя? Что же ты считаешь жалостью тогда?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Да! Ты требовалъ отъ меня слишкомъ много, а я не могла, ты никогда не хотѣлъ простить моихъ слабостей . . . Я не могу быть такой умной, какъ ты, а ты хотѣлъ, чтобы я тоже . . .

СТОРИЦЫНЪ. Это неправда, Елена! Вспомни, сколько я говорилъ съ тобой, сколько здоровья, сколько самой свѣжей силы я истратилъ на тебя. За эти часы безконечной работы, я могъ бы воспитать цѣлое поколѣніе людей, я могъ бы бросить въ міръ десятки книгъ . . . Но развѣ хоть въ одной моей книгѣ я говорю съ такой страстью, съ такимъ желаніемъ убѣдить, съ такимъ напряженіемъ всей моей воли, какъ я говорилъ съ тобой? Ахъ, если бы я такъ писалъ, какъ говорю съ тобой, когда мнѣ нужно добыть хоть маленькій, самый маленькій кусочекъ твоего сердца! Что же осталось отъ всѣхъ моихъ словъ, что ты поняла, Елена?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Я не виновата, что не могу

понять, какъ будто я не старалась. Ты страдалъ, я это знаю, у тебя больное сердце, и я твоя убійца, но ты хоть радовался въ жизни, а я? Ты, бывало, читаешь книгу и я подсматриваю, вижу, какъ ты отъ нея счастливъ, а я? Пойду, бывало, и сяду на твое мѣсто, разверну книгу на той же страницѣ — ну и что же, ничего, ничего! А ты все дальше отъ меня уходишь, все дальше, пока я совсѣмъ не осталась одна. Прежде я говорила на трехъ языкахъ, а теперь . . . англійскій совсѣмъ забыла, на нѣмецкомъ едва читать могу . . . Съ кѣмъ мнѣ говорить, о чемъ? Саввичъ подлецъ, это правда, но только онъ одинъ и жалѣлъ меня, понималъ, что я тоже человѣкъ . . . Къ тебѣ прійдешь съ непріятностями или насчетъ прислуги, а ты гонишь . . . а ты гонишь, я и сама понимаю, что тебѣ не до того, а Гавріилъ Гавріилычъ . . . Или въ прошломъ году, когда Сережа дифтеритомъ заболѣлъ, а у тебя въ университетѣ безпорядки, такъ кто за докторами ѣздилъ, парадное кто ночью въ аптекѣ ломалъ? Все Гавріилъ Гавріилычъ. А кто теперь первый о твоемъ здоровьи заботится . . .

СТОРИЦЫНЪ. Но ты дѣйствительно сошла съ ума! Саввичъ, заботящійся о моемъ здоровьи! Опомнись, что ты говоришь, Елена!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. А если и сошла, то кто виноватъ? Ты никогда не уважалъ меня, почему ты прежде, въ самомъ началѣ, не выгналъ Саввича?

СТОРИЦЫНЪ. Боже мой, опять эта дикая логика. Да! Да! Я уважалъ тебя и поэтому не выгонялъ, не долженъ былъ выгонять.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Нѣтъ, ты никогда не любилъ меня! Сколько разъ я умоляла тебя: обрати вниманіе на Сережу, накажи его, а ты что? Ты хотя бы крикнулъ . . . а на слова твои никто вниманія не обращаетъ. Его розгами надо было . . .

СТОРИЦЫНЪ. Это Саввичъ сказалъ?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Не знаю, кто сказалъ, мнѣ

все равно. Ты въ Бога не вѣришь, а я вѣрю, такъ подумай пожалуйста, сообрази, какое мое счастье! Ты умрешь, въ рай пойдешь, а я куда? А я куда? Безъ тебя я, можетъ, была бы счастлива, меня бы уважали, какъ другихъ женщинъ уважаютъ, а рядомъ съ тобой чего я стою, развѣ я сама не понимаю этого?

СТОРИЦЫНЪ. Зачѣмъ же ты клялась?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. А ты зачѣмъ требовалъ, чтобы я клялась?

СТОРИЦЫНЪ. Я не требовалъ, это неправда!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Но ты все равно, хотѣлъ, вотъ я и клялась. Для тебя же, чтобы тебѣ легче было, а ужъ что со мной... громко плачетъ... до этого тебѣ никогда дѣла не было. Никогда!

СТОРИЦЫНЪ. Но вѣдь это дважды обманъ, ты дважды обманула Бога... Елена, Елена! Какими же словами я разсѣю мракъ твоей совѣсти — ихъ нѣтъ! Теперь я клянусь: если бы существовало на свѣтѣ одно такое слово, которое могло бы раскрыть тебѣ глаза — я жизнью заплатилъ бы за это слово. За одно только слово! За одну вспышку свѣта въ этой ужасной темнотѣ! Очнись, Елена! Боже мой, какъ темно, какъ темно... кажется, я начинаю умирать?..

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Я дамъ тебѣ воды. Тебѣ нехорошо, Валентинъ?

СТОРИЦЫНЪ. Воды? Не надо. О, нѣжный мой палачъ, цѣлую твою руку...

Быстро подходитъ и цѣлуетъ руку у Елены Петровны — затѣмъ рѣзко отбрасываетъ руку.

СТОРИЦЫНЪ. Ты вѣдь творишь только волю пославшаго тебя. Но кто же послалъ тебя въ міръ — эту затянутую въ корсетъ даму, съ пудрой на свекольномъ лицѣ, съ грудью, которая могла бы вскормить тысячи младенцевъ, тысячи мучениковъ и героевъ, а питаетъ только — Саввича? Кто ты, ужасная? Страшный сонъ всей моей жизни, или ты дѣйствительно живешь, плачешь,

сморкаешься, жалуешься и ждешь, чтобы я подошелъ и ударилъ тебя, какъ бьетъ тебя Саввичъ?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Это неправда! Саввичъ никогда не билъ меня! Если бы ты жалѣлъ меня такъ, какъ онъ жалѣетъ, то я была бы другой. Я вѣдь ничего не говорю про твоихъ курсистокъ, про дѣвченокъ, которыхъ ты . . .

СТОРИЦЫНЪ. Что . . ?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Это не я одна, это тебѣ и Саввичъ скажетъ, хоть ты его и презираешь.

СТОРИЦЫНЪ. Молчать!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ты не смѣешь такъ на меня кричать, я не горничная тебѣ, я мать твоихъ дѣтей . . . Мнѣ все равно, завтра я руки на себя наложу, а ты не смѣешь, ты не смѣешь, у меня тоже больное сердце, я можетъ быть, скорѣе твоего умру — ты не смѣешь на меня кричать! На дѣвченокъ твоихъ кричи, а я мать, я въ мукахъ дѣтей твоихъ рожала, пока ты книги читалъ. У насъ трое дѣтей умерло — кто ихъ хоронилъ, кто гробики покупалъ — ты? . . А что мнѣ каждый гробикъ стоитъ, ты это знаешь?

СТОРИЦЫНЪ. Ты не мать, ты развратница.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ты не смѣешь такъ . . .

Не стучась, входитъ Саввичъ.

САВВИЧЪ. Что за крикъ, а драки нѣтъ? Нехорошо, профессоръ, нехорошо. Джентельмены, подобные вамъ, такъ съ женщиной не обращаются.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ты не смѣешь на меня кричать!

СТОРИЦЫНЪ. Вонъ!

САВВИЧЪ. Потише, потише, любезнѣйшій. Вонъ я не пойду и вообще не позволю, чтобы въ моемъ присутствіи оскорбляли женщину. Если вы желаете объясняться съ женой, это дѣло ваше семейное, вамъ никто не мѣшаетъ, но только для этого надо имѣть вѣжливыя формы, а не кричать, какъ извозчику! Вы профессоръ, вамъ надо уважать свое достоинство.

Въ раскрытую дверь входитъ Модестъ Петровичъ и, схватившись за голову, садится въ кресло.

СТОРИЦЫНЪ. О, какая наглость, какая наглость! Что же мнѣ дѣлать — ударить васъ? Ударить!

САВВИЧЪ выдвигая плечо. Ну, это еще кто кого, любезнѣйшій . . . Хотя вы и знаменитый профессоръ, а оскорблять себя я никому не позволю. Но если хотите . . . Дѣлаетъ шагъ впередъ . . . троньте, троньте, вотъ моя физіономія, не угодно ли? . . но только что отъ васъ останется, желалъ бы я знать?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Не надо, Бога ради, Гавріилъ Гавріилычъ! Не трогайте его! Онъ не знаетъ, что онъ говоритъ, онъ не будетъ . . .

САВВИЧЪ. Да вѣдь мы шутимъ. Вѣдь мы шутимъ, профессоръ?

СТОРИЦЫНЪ вдругъ совершенно спокойно. И вы думаете, что я васъ боюсь?

САВВИЧЪ. Не знаю-съ. Но человѣкъ, который лѣвой рукой выжимаетъ два пуда, долженъ внушать нѣкоторое почтеніе, это я знаю-съ. Мамыкинъ, поди ка сюда!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Не надо Мамыкина, ну, для меня, ну, я прошу, ну, я умоляю, наконецъ! Вѣдь это мой позоръ, я умру отъ стыда . . .

САВВИЧЪ. Нѣтъ, отчего же не надо? Пусть посмотритъ, какъ профессора обращаются съ женщинами, пусть поучится гуманизму. Это ему и для записной книжки пригодится. Мамыкинъ! Посмотри.

МАМЫКИНЪ входитъ потупившись. Ну, чего я тамъ не видалъ, я лучше уйду.

САВВИЧЪ. Нѣтъ, ты будешь смотрѣть, разъ я тебѣ говорю! Вотъ тебѣ — смотри: знаменитый профессоръ, талантъ, цвѣты и поклоненіе — тебѣ подносили когда нибудь такіе букеты, Мамыкинъ? Беретъ со стола букетъ, тычетъ имъ въ носъ Мамыкину, потомъ бросаетъ въ уголъ. А съ женой обращается, какъ съ кухаркой! Можетъ быть, профессоръ, вы

бы и ударили ее, какъ меня собирались? Она женщина беззащитная. Попробуйте.

Модестъ Петровичъ шатаясь, ходитъ по кабинету, закрываетъ лицо и глаза руками, бормочетъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Боже мой, Боже мой, Боже мой.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Сядь, Модестъ! Не надо, Гавріилъ Гавріилычъ, онъ боленъ, онъ не оскорблялъ меня. Я сама . . .

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Боже мой, Боже мой, Боже мой.

СТОРИЦЫНЪ. Елена, я прошу тебя съ этими господами уйти.

САВВИЧЪ. Вотъ это другой разговоръ. Видишь, Мамыкинъ, какой тихонькій сталъ нашъ профессоръ. Сейчасъ онъ еще Леночка скажетъ . . . А что, если дѣйствительно — и настоятельно — попросить его объ этомъ: скажетъ онъ или нѣтъ, какъ ты думаешь? Хочешь пари на зелененькую, что скажетъ? Профессоръ, вамъ не угодно будетъ вашей супругѣ сказать Леночка, какъ вы уже изволили сказать Лена? Становится въ позу. Впрочемъ . . . не стоитъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Боже мой, Боже мой, Боже мой.

СТОРИЦЫНЪ. Елена, я еще разъ прошу тебя уйти съ этими господами, иначе я самъ долженъ буду уйти. И пошли ко мнѣ Сергѣя.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Господи, это еще что, я съ ума схожу. Ты его убьешь, я боюсь.

САВВИЧЪ. И хорошо сдѣлаетъ, между прочимъ. Кричитъ въ открытую дверь. Сергѣй! Сережка! къ отцу. Ну, теперь разговоръ другой и я прошу васъ очистить поле сраженія, Елена Петровна. На вѣжливость я и самъ вѣжливъ и не менѣе всякаго лорда уважаю права чужого жилища. Слышишь, Мамыкинъ? — честью просятъ. Насмотрѣлся, дурашка? — жалко мнѣ твою невинность

портить, но что, братъ, подѣлаешь, смотри, учись. Эхъ, люди, людишки!

Входитъ Сергѣй и останавливается въ сторонѣ, угрюмо и равнодушно смотря на происходящее.

СЕРГѢЙ. Что надо, зачѣмъ еще звали?

САВВИЧЪ. А вотъ съ отцомъ поговоришь, тогда узнаешь, что надо. Каторжникъ! Идемте, Елена Петровна. А когда, профессоръ, успокоитесь и придете въ норму, я весь къ вашимъ услугамъ: дуэль, такъ дуэль, если вамъ захочется этой глупости, а самое лучшее: побесѣдовать толкомъ и спокойно, какъ принято у порядочныхъ людей. Адье. Вамъ что надо, Модестъ Петровичъ, что вы трясетесь около меня?

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ потрясая сжатыми кулаками. Вы, Гаврилъ Гаврилычъ — негодяй, недостойный человѣкъ! Боже мой, Боже мой, что мнѣ ему еще сказать? Негодяй.

САВВИЧЪ. Что-съ? Послушайте-ка, Елена Петровна.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Елена, сестра! Какъ старшій братъ твой, знавшій тебя невинной дѣвочкой . . .

СТОРИЦЫНЪ. Оставь, Модестъ. Иди.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Хорошо, Валентинъ Николаевичъ! Но онъ же негодяй, Валентинъ Николаевичъ! Что мнѣ еще ему сказать . . . онъ смѣется.

САВВИЧЪ съ глубокимъ презрѣніемъ. Вотъ дуракъ. И правда, что не сѣютъ, не жнутъ, а сами родятся. Свирѣпо. Прочь съ дороги, мелюзга, задавлю! Ишь ты, старая каналья, мало самъ арестантскихъ щей хлебалъ, такъ и другихъ въ такую же исторію втравить хочешь. Прочь.

Легкимъ толчкомъ выпихиваетъ въ дверь Модеста Петровича, безсвязно и настойчиво повторяющаго: Боже мой, Боже мой.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Я здѣсь останусь, Гаврилъ Гаврилычъ, я не пойду.

САВВИЧЪ. Нѣтъ, пойдете. Завтра еще успѣете наобъясняться, на васъ вѣдь тоже лица нѣтъ. Поуспокой-

тесь, поуспокойтесь, граждане, а потомъ и дѣлами займетесь. Профессоръ, до свиданія — и вотъ вамъ мой безкорыстнѣйшій совѣтъ: не жалѣйте хулигана. Адье.

Выходятъ. Сторицынъ и Сергѣй одни; онъ въ той же позѣ у двери; въ сумракѣ его лицо кажется то неопредѣленно мрачнымъ, то также неопредѣленно и странно улыбающимся. Сторицынъ крупными шагами ходитъ по кабинету.

СТОРИЦЫНЪ. Садись.

СЕРГѢЙ садясь. Что надо, папа?

Сторицынъ молча и нетерпѣливо машетъ рукой и продолжаетъ ходить. При свѣтѣ лицо Сергѣя угрюмо, но равнодушно, почти скучно. Сторицынъ круто поворачивается и садится на свое мѣсто у стола.

СТОРИЦЫНЪ. Я нѣсколько разъ замѣчалъ, Сергѣй, что отъ тебя пахнетъ водкой. Ты пьешь? Отъ тебя и сегодня пахнетъ водкой.

СЕРГѢЙ. Позволь, папа. Сегодня воскресенье, у меня были товарищи и просто, какъ хозяинъ . . . я не понимаю, что здѣсь такого, чтобы устраивать исторіи. И вообще, ты можешь быть совершенно спокоенъ, папа, я никогда не позволю себѣ напиваться, у меня есть характеръ. Вообще, я веду себя прилично. Я возьму папиросу.

Протягиваетъ руку къ коробкѣ съ папиросами, но Сторицынъ, вспыхнувъ, съ силой бьетъ его по рукѣ. Сергѣй встаетъ.

СЕРГѢЙ. Что это такое! Ты съ ума сошелъ!

СТОРИЦЫНЪ. Не смѣть . . . воръ! Закрой дверь на ключъ и ключъ дай сюда.

СЕРГѢЙ. Но это же глупо! Ты же не собираешься . . . Богъ знаетъ, что тутъ у васъ! И мнѣ все равно, наконецъ!

СТОРИЦЫНЪ. Садись.

Сергѣй садится на то же мѣсто и глядитъ въ потолокъ. Сторицынъ самъ закрываетъ дверь и ключъ прячетъ въ карманъ.

СТОРИЦЫНЪ. Ты давно воруешь мои книги, Сергѣй?

СЕРГѢЙ вставая. Это онъ тебѣ донесъ? . .

СТОРИЦЫНЪ. Сядь. Утомленно. Ты понимаешь, что такое книга, Сергѣй? Я часто говорилъ тебѣ о книгѣ, училъ любить и уважать ее. Еще маленькаго, показывая картинки, я училъ тебя осторожно повертывать страницы, мыть руки, чтобы не пачкать. Ты видѣлъ, какъ я самъ люблю книгу, какъ я дорожу ею, какъ я радуюсь каждой новой книгѣ въ моей библіотекѣ . . . Пусть ты самъ не любишь и не понимаешь, но ты же видѣлъ мое отношеніе... и ты въ самомъ дорогомъ грабилъ меня, Сергѣй. Я понялъ бы тебя, воруй ты деньги, но книги! Продать чью то душу, чтобы выручить двухгривенный, тридцать серебрянниковъ . . . это поступокъ Іуды, Сергѣй.

СЕРГѢЙ. Я не Іуда.

СТОРИЦЫНЪ. Да, ты не Іуда, ты моя плоть и кровь, мой родной сынъ . . . Но гдѣ же я во всемъ этомъ? Постой, постой, я какъ будто первый разъ вижу твое лицо . . . сиди, сиди, не конфузься. Значитъ, это плоское, придавленное, сжатое въ вискахъ — твой лобъ, лобъ моего сына? Странно! И откуда у тебя эта низкая, звѣриная челюсть . . . вѣроятно, ты можешь перегрызать очень толстыя кости, да?

СЕРГѢЙ. Мнѣ все равно.

СТОРИЦЫНЪ. И откуда эти молодые, но уже тусклые — и угрюмые какіе — угрюмые глаза! И вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ проборчикъ на лбу . . . интересный проборчикъ. И эти странные, дешевые духи . . . да, да, молодость. Ты очень угрюмый человѣкъ, Сергѣй, я никогда не слыхалъ твоего смѣха.

СЕРГѢЙ. Мнѣ не съ чего радоваться. Іуды не радуются.

СТОРИЦЫНЪ. Да, да. Странно! Поговоримъ просто, Сергѣй, я очень усталъ кричать и волноваться, забудь какъ и я, что я твой отецъ . . . Ну, разскажи мнѣ, разскажи про себя . . . На что ты тратишь деньги?

СЕРГѢЙ. Я не Іуда. И я не виноватъ, что у меня

нѣтъ способностей. Не всѣмъ же быть профессорами, какъ ты. Но если же у меня нѣтъ способностей, тогда что?

СТОРИЦЫНЪ. Такъ, такъ. Какъ же ты думаешь жить?

СЕРГѢЙ. А я почемъ знаю?

СТОРИЦЫНЪ. Но вѣдь жить надо?

СЕРГѢЙ. Такъ и буду. Ты, папа, ошибаешься, что я легкомысленный человѣкъ, пьяница.

СТОРИЦЫНЪ. Возьми папиросу.

СЕРГѢЙ. Спасибо. Я человѣкъ положительный, у меня волосы становятся дыбомъ, какъ я подумаю про будущее. Женюсь же и я когда нибудь, я человѣкъ положительный, пойдутъ дѣти, а какъ я ихъ буду кормить? У другихъ родители помогаютъ или протекція, а у меня что? Тебѣ легко говорить, папа, а вотъ умрешь если, всѣ мы по міру пойдемъ, какъ нищіе . . .

СТОРИЦЫНЪ. Моя жизнь застрахована, если не ошибаюсь.

СЕРГѢЙ усмѣхаясь. Десять то тысячъ? Не смѣйся, папа.

СТОРИЦЫНЪ. Да, это маловато.

СЕРГѢЙ усмѣхаясь. Одному Саввичу не хватитъ. А насъ двое, я да Володька, Володьку тоже пожалѣть надо. Вотъ ты и пойми! Живемъ мы богато, люди завидуютъ, а я полгода маму прошу балалайку купить, не допрошуся. Копить мнѣ не съ чего, я жалованья не получаю.

СТОРИЦЫНЪ. А копить надо?

СЕРГѢЙ. Копить каждому человѣку надо. Въ жизни нуженъ характеръ, папа, безъ характера подъ заборомъ умрешь. Нашъ Саввичъ подлецъ, я его насквозь вижу, онъ боится, что къ нему ночью воры заберутся и зарѣжутъ его, а посмотри, какой у него характеръ! Я еще папиросу возьму, можно?

СТОРИЦЫНЪ. Пожалуйста. Значитъ и книги ты продавалъ . . .

СЕРГѢЙ закуривая. Ну, ужъ если на откровенность пошло, такъ я твои эти книги ненавижу! Тебѣ пріятно

на нихъ смотрѣть, а я ихъ видѣть не могу, въ домъ войти противно. Ахъ, книжечки, ахъ, душечки, ахъ, дѣточки... читай, Сережка, дуракъ! А если я не хочу читать, не хочу быть умнымъ, да. Не хочу! Ты умный, а я дуракъ, и пусть такой и буду, и это мое право, и никто не смѣетъ меня передѣлывать, разъ я не хочу. Вотъ и все! Іуда . . .

СТОРИЦЫНЪ. Тише, Сергѣй. Это твой принципъ?

СЕРГѢЙ. Да, принципъ. И что такое дуракъ? Для другихъ дуракъ, а для себя достаточно уменъ и умнѣе быть не желаю. Вотъ и все. Іуда! . . Чѣмъ я виноватъ, что у меня папаша профессоръ, а меня скоро со свѣта сживутъ. И въ гимназіи и эта скотина Саввичъ: Мамыкинъ, пойди сюда, посмотри какой у профессора сынъ дуракъ. Ну и дуракъ, не хочу быть умнымъ! . . Вотъ и все. У меня тоже характеръ есть.

СТОРИЦЫНЪ. А честнымъ хочешь быть?

СЕРГѢЙ. Захочу буду, а не захочу, такъ не буду. Лобъ низкій, проборчикъ . . . эхъ, папа!

СТОРИЦЫНЪ. Странно, странно!

Тревожно ходитъ по комнатѣ.

СТОРИЦЫНЪ. Ты ужасный, ты невѣроятный человѣкъ, Сергѣй! Ты однимъ движеніемъ вотъ этого лба опустилъ меня въ такую глубину, въ такой преисподній мракъ . . . Я удивляюсь, что ты еще не ударилъ меня.

СЕРГѢЙ. Это Саввичъ говоритъ, что я каторжникъ. Охота тебѣ повторять.

СТОРИЦЫНЪ. Это надо сдѣлать. Ты человѣкъ запасливый, у тебя навѣрно есть водка — принеси, Сергѣй.

СЕРГѢЙ. Пить будешь? Тебѣ вредно. И зачѣмъ это, папа: ничего вѣдь не передѣлаешь, а только боленъ будешь. Легъ бы лучше, ей Богу.

СТОРИЦЫНЪ. Да что я съ тобой — стѣсняться буду? Теперь?! Живо, слышишь . . .?

СЕРГѢЙ. Слышу, мнѣ все равно. Дверь заперта.

СТОРИЦЫНЪ. Возьми.

Сергѣй выходитъ. Сторицынъ быстро шагаетъ по комнатѣ, бросая отрывисто и громко.

СТОРИЦЫНЪ. А! Профессоръ Сторицынъ! Красота и нетлѣнное! Мученикъ и страдалецъ! Чистота и незапятнанность, да? А низкій лобъ не хочешь? А проборчикъ не хочешь? А духи не хочешь?

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА съ порога. Клянусь Богомъ, Валентинъ, если ты будешь пить, я въ окно брошусь, я за Саввичемъ пошлю! Ты не имѣешь права такъ издѣваться надъ нами!

СТОРИЦЫНЪ. Уйди.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА падая на колѣни. Я на колѣняхъ прошу. Модестъ, братъ!

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ плача. Можно мнѣ войти, Валентинъ?

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ, нѣтъ. Уходите.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА вставая, покорно, дрожа. Хорошо. Но только помни, Валентинъ, что я . . . я твоихъ дѣтей хоронила.

СЕРГѢЙ. Ну, иди, иди, мама! . . Теперь уже нечего. Дядя Модестъ, возьми же ее . . . Ну?

Сертѣй затворяетъ дверь и ключъ кладетъ на столъ.

СЕРГѢЙ. Вотъ коньякъ, только много не пей. Закусывать, навѣрно, не будешь, а то я достану.

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ. Почему одна рюмка? Ты будешь пить со мною.

СЕРГѢЙ угрюмо. Нѣтъ.

СТОРИЦЫНЪ. Не станешь?

СЕРГѢЙ. Нѣтъ.

СТОРИЦЫНЪ пытаясь засмѣяться. Что жъ, пожалуй, ты и правъ. Что это, рюмка? Нѣтъ, братъ, оставь. Вотъ это будетъ... Выплескивая изъ стакана остатки чая... моя, какъ это говорится, посудина. Видишь, немного ума никогда не мѣшаетъ.

СЕРГѢЙ. Такъ скоро напьешься съ непривычки.

СТОРИЦЫНЪ. За твой принципъ! Я не шучу. Пьетъ и кашляетъ. Такъ. Я не шучу! Вообрази, что мнѣ мой умъ тоже сталъ . . . вдругъ отвратителенъ, и я не хочу его. Почему этому не быть? За дураковъ и профессора Сторицына! Наливай!

СЕРГѢЙ наливая. Мнѣ все равно.

СТОРИЦЫНЪ пьетъ. Нѣтъ, не все равно. Завтра всѣмъ разскажи въ гимназіи, что твой отецъ былъ пьянъ. Слабый коньякъ. Разскажи!

СЕРГѢЙ становясь все угрюмѣе. Зачѣмъ же я буду разсказывать?

СТОРИЦЫНЪ. Эхъ, жаль, что твои балалайки ушли. Садится и смѣется. Сережа, а коньякъ то дѣйствуетъ? — странно. Налей ка еще. Сережа, завтра я куплю тебѣ балалайку.

СЕРГѢЙ. Не надо мнѣ балалайки. Спать бы ложился, папа.

СТОРИЦЫНЪ наливаетъ и пьетъ. Надо! Милый ты мой Сережа, бѣдный ты мой мальчикъ . . . Опускаетъ голову и задумывается, Сергѣй молча смотритъ на него. Что?

СЕРГѢЙ. Ничего. Спать иди.

СТОРИЦЫНЪ. Оставь! Сережа, мальчикъ, скажи, ты навѣрное влюбленъ въ кого нибудь, а?

СЕРГѢЙ. Да, какъ водится.

СТОРИЦЫНЪ. Да?

СЕРГѢЙ. Да.

СТОРИЦЫНЪ. Но какой я! . . Конечно, конечно. Я же и забылъ совсѣмъ, что ты мальчикъ . . .

СЕРГѢЙ. Ну, не совсѣмъ.

СТОРИЦЫНЪ. И что ты теперь какъ разъ переживаешь ту пору, когда расцвѣтаютъ цвѣты. Налей. Я сегодня всю дорогу везъ цвѣты, а ихъ бросили въ уголъ. Кому мѣшаютъ цвѣты? Кто можетъ ненавидѣть цвѣты такъ, чтобы бросить ихъ въ темный уголъ? Мои цвѣты.

СЕРГѢЙ. Папа, кто эта княжна, которая бываетъ у насъ? Гордая очень.

СТОРИЦЫНЪ машетъ рукой. Не надо. Пьетъ. Вздоръ! Почему у меня не завѣшаны окна сегодня? Странно, я ихъ самъ завѣсилъ. Теперь мнѣ кажется, что вся улица смотритъ на меня... Ну — смотри? Что? Хорошъ? Ага.

СЕРГѢЙ. Завѣсить, папа? Я завѣшу.

СТОРИЦЫНЪ. Вздоръ! Наклоняясь къ сыну. Такъ кто же она, Сережа, говори. Гимназистка?

СЕРГѢЙ. Въ этомъ родѣ.

СТОРИЦЫНЪ. Цвѣты, цвѣты... Ну и какъ, Сережа, ты счастливъ, скажи. Ахъ, братъ, я такъ хочу, чтобы ты хоть немного былъ счастливъ, бѣдный ты мой мальчикъ. Забудь ужасы этого дома, скажи мнѣ какъ другу, что ты хоть немного узналъ это... это... Нѣжно и мечтательно улыбаясь. Понимаешь? Фу, я пьянъ.

СЕРГѢЙ. Мы съ нею живемъ, папа.

СТОРИЦЫНЪ. Что-о?

СЕРГѢЙ. Не безпокойся, мы принимаемъ мѣры. Не пей больше, это глупо. На тебя противно смотрѣть! Зачѣмъ ты мнѣ дѣлаешь такое лицо? Ты не смѣешь дѣлать такое лицо, я маму позову.

Сторицынъ перестаетъ смотрѣть на сына и смѣется. Пьяно грозитъ пальцемъ.

СЕРГѢЙ. Не умѣешь пить, такъ не надо, никто не проситъ. Я маму позову.

СТОРИЦЫНЪ. Сережа? А что, если мы поѣдемъ съ тобой туда? Понимаешь — куда всѣ ѣздятъ? А? Вотъ будетъ штука капитана Кука. Откуда это: штука капитана Кука? Сергѣй! Я требую! Пріобщи меня къ твоему ничтожеству, къ великой грязи міра сего... Унизь меня, Сергѣй, унизь.

СЕРГѢЙ. Оставь, пожалуйста, надоѣло. Ты пьянъ!

СТОРИЦЫНЪ. А я требую! Вези меня, куда самъ знаешь. Свали меня на площадь, какъ падаль, грязный мусоръ... улыбка божества! Городовой, въ участокъ профессора... какъ его... Сторицына... Ага! Давай руку, Сережка.

СЕРГѢЙ. Убирайся отъ меня. Ты пьянъ. У, какъ напился, противный.

СТОРИЦЫНЪ. Къ діаволу на рога его, Сторицына!.. болтуна! . . красавца! На колѣни, Сторицынъ, передъ низкимъ лбомъ, а иначе . . . Вдругъ страшно блѣднѣетъ и хватается за грудь, прежнимъ голосомъ. Постой! . . Сердце! Воды!

Падаетъ въ кресло, хрипя.

СЕРГѢЙ не смѣя подойти. Папа! Ты пьянъ! Папа! Встань!

Въ двери отчаянный стукъ и голоса.

Занавѣсъ.

Четвертое дѣйствіе.

У профессора Телемахова вечеромъ слѣдующаго дня, т. е. въ понедѣльникъ. Часовъ около одиннадцати; на дворѣ дождь и сильный вѣтеръ.

Кабинетъ — пріемная Телемахова. Судя по крупнымъ размѣрамъ комнаты, по тяжелымъ пропорціямъ дверей и оконъ — квартира находится въ одномъ изъ казенныхъ зданій. Потолокъ бѣлый, почти безъ орнамента; обои свѣтлыя, мебель темная. Два дивана и кресла обтянуты дешевой кожей или клеенкой подъ кожу. Книгъ много, но обиліе ихъ не такъ замѣтно, какъ у Сторицына, благодаря строгому порядку. Нѣсколько физическихъ приборовъ, небольшая электрическая машина. Полное отсутствіе чего либо, предназначеннаго для украшенія или хотя бы для смягченія прямыхъ, тяжелыхъ и четкихъ линій. Окна, выходящія въ садъ или на пустырь, не завѣшаны; въ одномъ открыта большая форточка. Кромѣ лампы на столѣ, горятъ еще двѣ лампочки, одна висячая, обѣ съ бѣлыми колпачками.

Телемаховъ что то читаетъ, но либо чтеніе дается съ трудомъ, либо мѣшаютъ мысли: часто подергиваетъ себя за бородку, ворошитъ короткіе съ просѣдью военные волосы. Уже сильно не трезвъ, но продолжаетъ пить красное вино. Форменная сѣрая тужурка полуразстегнута. На кожаномъ диванѣ, лицомъ къ Телемахову, лежитъ Володя, слѣдитъ, какъ онъ читаетъ, какъ пьетъ вино, какъ ворошитъ волосы. При сильныхъ порывахъ вѣтра оба поворачиваются къ окнамъ и прислушиваются.

Въ крѣпости изрѣдка стрѣляетъ пушка, предупреждая о наводненіи.

ВОЛОДЯ нарушая молчаніе. Вѣтеръ какой сильный. Теперь нехорошее время для полетовъ, голову можно

сломать и машину попортить. Вчера барометръ стоялъ перемѣнно, а нынче спустился ниже бури. Какъ это можетъ быть, чтобы ниже бури? — смѣшно! Прокопій Евсеичъ, вы смотрѣли нынче барометръ?

ТЕЛЕМАХОВЪ мычитъ. Угу. Не мѣшай.

ВОЛОДЯ. Прокопій Евсеичъ, будетъ сегодня наводненіе или нѣтъ? Пушка стрѣляетъ.

Оба прислушивается.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не слышу. Я глуховать становлюсь. Ты что, мѣшать мнѣ пришелъ? Лежишь, такъ лежи, авіаторъ тоже!

Молчаніе.

ВОЛОДЯ. Прокопій Евсеичъ, а что у насъ дома дѣлается, вы не знаете?

ТЕЛЕМАХОВЪ сердито. Тебѣ говорить хочется?

ВОЛОДЯ. Да.

ТЕЛЕМАХОВЪ. А мнѣ нѣтъ. Не знаю, что у васъ дома дѣлается. Не знаю и знать не желаю.

ВОЛОДЯ. Я говорилъ по телефону изъ булочной, да у нихъ трубка снята. Ничего не слышно.

ТЕЛЕМАХОВЪ. А какъ чавкаютъ, не слышно?

ВОЛОДЯ. Почему чавкаютъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Твоего папахена жрутъ. Не слышно? Такъ и молчи.

Молчаніе.

ВОЛОДЯ. Прокопій Евсеичъ, вы профессоръ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Профессоръ.

ВОЛОДЯ. И генералъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. И генералъ. Дальше что?

ВОЛОДЯ. Зачѣмъ же вы напиваетесь? Вы каждый вечеръ такъ напиваетесь?

ТЕЛЕМАХОВЪ. А ты зачѣмъ летаешь?

ВОЛОДЯ. Такъ я для пользы! И смѣшно.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ну и я для пользы. Что же ты рѣшилъ — такъ и не давать мнѣ читать? Кто же изъ насъ къ кому пришелъ — я къ тебѣ или ты ко мнѣ? Гость!

ВОЛОДЯ. А вы бросьте читать, успѣется. Давайте поговоримъ. Вѣтеръ какой сильный!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ты у меня каждый вечеръ бока пролеживаешь, такъ я каждый вечеръ и буду съ тобой разговаривать? И о чемъ я съ тобой, телелюемъ, говорить буду — ты объ этомъ подумалъ? Голова!

ВОЛОДЯ. Мало ли о чемъ. Прокопій Евсеичъ, а вамъ не скучно всегда одному быть? Ни товарищей у васъ, ни друзей, одинъ деньщикъ, да и тотъ на кухнѣ спитъ. Оттого вы и пьете, что одинъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ хмыкая. Оттого?

ВОЛОДЯ. А то отчего же? На вашемъ мѣстѣ и корова запьетъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Корова? А ты видалъ, чтобы коровы пили?

ВОЛОДЯ. Медвѣди пьютъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Медвѣди? Какой мыслитель, а! Медвѣди! Ничего въ жизни не понимаетъ, еще мычать толкомъ не научился, теленокъ! — а тоже въ разсужденія лѣзетъ. Оттого что, потому что . . . Ты, Володя, мыслитель, да? Ну, а я мыслетель. Долго смѣется. Отъ слова: мыслете, понимаешь? Мыслетель, хе, хе, русскій мыслетель.

ВОЛОДЯ. Я о папахенѣ безпокоюсь, сегодня у меня Сережка былъ, такія чудеса разсказывалъ . . . Внезапно громко всхлипываетъ и оборачивается лицомъ къ стѣнѣ. Сожрутъ они папахена, какъ вы думаете? Сами говорите, что чавкаютъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Что, какъ баба . . . Перестань! Когда у человѣка басъ, какъ у протодіакона, ему ревѣть поздно. Раньше бы ревѣлъ! Ты зачѣмъ изъ дома ушелъ, ты зачѣмъ одного его оставилъ?

ВОЛОДЯ. Смотрѣть не могъ. Не оборачиваясь. Я, Прокопій Евсеичъ, Саввича убью. Честное слово.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ага! Саввича убью. Додумался! А о чемъ же ты раньше мыслилъ, мыслитель?

ВОЛОДЯ. Я папахену вѣрилъ, что онъ человѣкъ не плохой. Теперь у меня своя голова есть.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Своя голова есть? А твоему папахену можно вѣрить, когда онъ человѣка хвалитъ, твой папахенъ что нибудь въ людяхъ понимаетъ, а? Ну, ну, ободрись. Это хорошо, когда своя голова есть, я тоже когда то, братъ Володя, былъ достаточно глупъ, — больше чѣмъ надо! Ты что нибудь про мою жену слыхалъ? Дрянь баба, пиголица, птичьи мозги, только и любитъ, что духи и мыло. Еще массажъ любитъ, думаетъ, что вся наука и медицина состоитъ изъ массажа лица! Кажется, въ надеждѣ на безплатный массажъ и за меня вышла. Она вышла, а я ей пятнадцать лѣтъ сто рублей каждый мѣсяцъ высылаю, каждый мѣсяцъ перваго числа — это какъ по твоему, мыслитель? Ну и по моему также! Кричитъ. Геннадій! Звонитъ. Драть меня надо за это, драть, драть, какъ Сидорову козу! Я себя презирать сталъ за эти сто рублей, я каждый мѣсяцъ не переводъ на сто рублей пишу, а сто розогъ себѣ пишу, розогъ, розогъ! . .

Постучавшись, входитъ деньщикъ Геннадій.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Дрыхнешь? Тебѣ звонятъ, а ты носомъ свистишь? Перемѣнить.

ГЕННАДІЙ. Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Перемѣнить!

ГЕННАДІЙ. Есть, ваше превосходительство.

Во все время, пока деньщикъ проходитъ по комнатѣ, принося вино, Телемаховъ черезъ очки, молча и сердито слѣдитъ за нимъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ наливая вино. Такъ то, мыслитель. Сознательный человѣкъ, а на трудовыя деньги паразита содержу, каждый мѣсяцъ сто рублей паразиту въ зубы: пожалуйте! А паразитъ: благодарю васъ, господинъ Телемаховъ, не будетъ ли еще? И будетъ еще, будетъ, будетъ! . . Машетъ рукой передъ горломъ. Горло готовъ перерѣзать бритвой, только не посылать этой . . . пиголицѣ!

Молчаніе. Порывъ вѣтра и звукъ отдаленнаго выстрѣла. Телемаховъ смотритъ на форточку и сердито палкой захлопываетъ ее.

ВОЛОДЯ вздыхая. Убью.

Сильный звонокъ. Телемаховъ останавливается, Володя быстро садится: оба слушаютъ.

ВОЛОДЯ. Это отъ насъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Погоди еще, не все отъ васъ, бываютъ и больные.

ВОЛОДЯ. Отъ насъ.

Входитъ Геннадій.

ГЕННАДІЙ. Ваше превосходительство, къ вамъ господинъ Сторицынъ просются, въ передней стоятъ.

Телемаховъ дѣлаетъ нѣсколько шаговъ впередъ, но уже входитъ Сторицынъ, одѣтый, въ пальто и шляпѣ. Совершенно мокръ отъ дождя, ботинки безъ калошъ грязны, брюки внизу также.

СТОРИЦЫНЪ. Я къ тебѣ, Телемаховъ. Извини, что врываюсь ночью, сейчасъ, кажется, очень поздно . . . Можно?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Я радъ, я отъ души радъ . . . Геннадій, раздѣнь.

СТОРИЦЫНЪ. Да, пожалуйста . . . Геннадій, я ужъ въ переднюю не пойду. И горячаго чаю, Геннадій, если не поздно, я озябъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Чаю! Вина еще!

СТОРИЦЫНЪ. Васъ зовутъ Геннадій? Спасибо. Нѣтъ, ноги обтирать не надо, это ничего . . . ужасный дождь! Это ты, Володя, здравствуй. Какъ ты сюда попалъ, ты же не тутъ живешь?

ВОЛОДЯ. Я въ гостяхъ, папахенъ.

СТОРИЦЫНЪ. Очень радъ. Вѣроятно, будетъ наводненіе: сейчасъ я шелъ по Невѣ, тамъ такая темень . . . Постой, Телемаша, развѣ близко отъ твоей квартиры есть Нева?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Есть. Садись, милый, сейчасъ будетъ чай.

СТОРИЦЫНЪ. Конечно, есть. Но представь, я вдругъ забылъ твой адресъ, ходилъ, ходилъ . . . и извозчика взять нельзя, куда же онъ поѣдетъ? Разъ пушка выстрѣлила у меня подъ самымъ ухомъ . . . Къ тебѣ можно, Телемаховъ? Я долженъ тебѣ сказать, что я совсѣмъ ушелъ изъ дома.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Очень радъ! . . Давно пора! . .

СТОРИЦЫНЪ. Да, да, давно пора. Сегодня, Телемаша, былъ ужасный день, сто двадцать верстъ въ длину... Володя, ты не ушелъ бы домой? Я очень радъ, но сейчасъ мнѣ трудно видѣть тебя . . . какой ты высокій сталъ, Володя! Поцѣлуй меня и иди.

ТЕЛЕМАХОВЪ рѣшительно. Онъ тутъ ночуетъ. Иди въ спальню, Володя.

Беретъ его подъ руку и ведетъ, говоря что то и смотря на него поверхъ очковъ. Сторицынъ смотритъ сперва въ черное окно, потомъ на столъ. Телемаховъ возвращается, рѣшительно потирая руки.

СТОРИЦЫНЪ. Красное винцо потягиваешь, Телемаша?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Да. Поѣсть не хочешь, надо поѣсть.

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ, я что то ѣлъ. Мы обѣдали сегодня, Телемаховъ. Я долженъ сказать тебѣ, что я ушелъ изъ дома навсегда.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Да, да, слышалъ, братъ. Давно пора! . . Поздравляю.

СТОРИЦЫНЪ. Телемаша, у тебя есть въ домѣ револьверъ? Понимаешь, въ моемъ домѣ не оказалось нигдѣ револьвера . . . покажи мнѣ эту штуку, я бы посмотрѣлъ. Но почему я могъ знать, что въ моемъ домѣ нужна эта штука капитана Кука . . . Фу, вздоръ какой я говорю! Я шучу, Телемаша. И я озябъ, трясетъ немного.

ТЕЛЕМАХОВЪ яростно. Геннадій!

СТОРИЦЫНЪ. Не надо, онъ сейчасъ, еще не готово. Съ удовольствіемъ выпью чаю. Невѣроятнѣйшій дождь.

И на Невѣ такая темень . . . какъ все таки странно, что Нева близко отъ тебя!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Дай руку, Валентинъ.

СТОРИЦЫНЪ. Зачѣмъ? Отдергиваетъ руку. Ахъ, пульсъ! Не надо, ничего этого, Христа ради, не надо. Когда меня теперь спрашиваютъ о здоровьи или трогаютъ пульсъ, мнѣ кажется, что меня собираются вѣшать и боятся, что я уже умеръ. Я здоровъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ты бредишь!

СТОРИЦЫНЪ. Можетъ быть, но ты не сердись. И я попрошу тебя, Телемаша: если сюда прійдетъ онъ, то пожалуйста не пускай его, я больше не могу.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Кто это онъ? Саввичъ?

СТОРИЦЫНЪ. Да.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не пускать? А можетъ быть пустить? Можетъ быть взять его за бѣлую ручку и сказать: пожалуйте, господинъ Саввичъ!

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ, нѣтъ. Я не могу.

Телемаховъ открываетъ дверь въ спальню и кричитъ,

ТЕЛЕМАХОВЪ. Володя, сюда собирается прибыть господинъ Саввичъ и отецъ проситъ не пускать его . . . ты можешь это или нѣтъ?

ВОЛОДЯ медленно и по звуку голоса лѣниво. Могу.

Телемаховъ со стукомъ захлопываетъ дверь. Геннадій приноситъ часы. Сторицынъ, благодаритъ и съ жадностью пьетъ. Телемаховъ, начиная фыркать все сильнѣе, ходитъ по комнатѣ, каждый разъ искоса и сердито взглядывая на Сторицына. Смѣется.

СТОРИЦЫНЪ. Горячо. Какъ у васъ уютно. Ты что смѣешься, Телемаша?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Смѣюсь, оттого, что смѣюсь. Или можетъ быть, ты запретишь смѣяться? Тогда извини — не могу. Перестаетъ смѣяться. Смѣюсь!

СТОРИЦЫНЪ. Надо мною?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не знаю. И никто не смѣетъ запретить мнѣ смѣяться. Смѣюсь и кончено! А кому неугоденъ мой смѣхъ, тѣхъ прошу не слушать. Да!

СТОРИЦЫНЪ съ трудомъ соображая. Можетъ быть, мнѣ уйти?

ТЕЛЕМАХОВЪ останавливаясь и яростно смотря на Сторицына. Глупо! Было съ трехъ сторонъ глупо, а теперь со всѣхъ четырехъ глупо. Геннадій! Еще чаю!

Быстро входитъ Геннадій.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Если ты мнѣ попробуешь задрыхнуть, я тебя . . . скотина! Еще чаю!

СТОРИЦЫНЪ. За что ты его?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Я его за что, — а ты меня за что? . . Поставь, болванъ . . . Я его болванъ, а ты за что меня по рожѣ? Когда профессора Сторицына выгоняютъ изъ дома, то это по чьей рожѣ ударъ, позвольте васъ спросить? По Саввичевой? Да? Нѣтъ-съ, по моей. И кончено. По моей и кончено! Смѣялся и буду смѣяться, и никто мнѣ не запретитъ, да! Никто!

СТОРИЦЫНЪ невольно улыбаясь, медленно. Да постой, Телемаша . . . ты меня обвиняешь? По твоему, я виноватъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не знаю, кто виноватъ. Но только я не дамъ бить себя по рожѣ никому! не позволю! Пусть это будетъ даже господинъ Сторицынъ съ его благороднѣйшей дланью. И кончено.

СТОРИЦЫНЪ серіозно. Не кричи, Телемаховъ, я усталъ отъ крика. Ты думаешь, что я виноватъ? Но ты же знаешь, что я поистинѣ, по чести сѣялъ только доброе . . .

ТЕЛЕМАХОВЪ. Да? Только? А пришелъ воробей и съѣлъ?

СТОРИЦЫНЪ. Мнѣ такъ печально, что ты . . . Телемаша, старый другъ! Они же ничего не понимаютъ, а я ихъ понимаю, ну и въ этомъ все. И они могутъ меня бить, что ли, вообще по ихнему, а я ихъ не могу, и не долженъ, разъ понимаю . . . Постой, не кричи! . . Въ головѣ у меня шумитъ и мнѣ трудно. Телемаховъ! Я совершилъ ужасное открытіе. Я былъ пьянъ вчера, что

то со мной было, но не въ этомъ дѣло. Телемаховъ! . . я видѣлъ вчера моего сына, Сергѣя . . . такъ называемаго Сережку. Ты смѣешься? Не надо, не смѣйся.

ТЕЛЕМАХОВЪ стараясь спокойно. Могу и серіозно, отчего же? Когда профессора Сторицына выгоняютъ изъ дому, то можно поговорить и серьезно, сдѣлайте милость. Уже давно, Валентинъ Николаевичъ, много лѣтъ тому назадъ я отошелъ — вполнѣ сознательно отошелъ отъ твоей жизни и сказалъ себѣ: живи какъ хочешь, а я, какъ Пилатъ, умываю руки. Когда же — грозя пальцемъ — ты прійдешь ко мнѣ вотъ въ такую ночь, я тогда тебѣ все скажу, все припомню, молчать ужъ не стану. Кто же, по вашему, господинъ Сторицынъ, спрашиваю васъ, вотъ въ эту ночь разсчета, кто же, по вашему, люди — братья ваши милѣйшіе, ангелы безъ крыльевъ, хоть и въ запятнанныхъ, но все же въ бѣлыхъ одеждахъ — или же волки? Кто? Скажи ты, выгнанный изъ дому, одинокій, несчастный человѣкъ . . . остатки человѣка!

СТОРИЦЫНЪ вставая. Ты самъ одинокъ и несчастенъ. Мнѣ жаль тебя.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Прошу безъ жалости! Да, да, пусть я одинокая, старая собака, но у меня есть логово, у меня есть домъ — видишь? Обводитъ рукой. И въ концѣ концовъ, кто же къ кому пришелъ: я къ тебѣ, или ты ко мнѣ? Конечно, ты всю жизнь живешь въ мірѣ идеальныхъ сущностей, ты просто не желаешь опустить взоры на землю — ну, а я реалистъ, я біологъ и реалистъ! — и не желаю знать твоихъ нереальныхъ драгоцѣнностей. Летайте въ небесахъ, а я твердо держусь за землю, и не выпущу ее, и знаю, что мы, профессора Телемаховы и Сторицыны — одиночки въ эту ночь, среди волчьей стаи. И пусть тебя жрутъ, а я не хочу быть жратвомъ, я ихъ огнемъ, головешкой! Да!

СТОРИЦЫНЪ. Ложь, Телемаховъ! Сторицына нѣтъ, онъ призракъ и обманъ. Телемаховъ, подумай! . . у моего сына Сергѣя низкій лобъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Низкій лобъ? Да? Отчего же онъ низкій? Низкій. Яростно. Такъ стрѣлять въ низкій лобъ, стрѣлять, стрѣлять!

СТОРИЦЫНЪ громко. Замолчи!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Нѣтъ, не замолчу. Я пріобрѣлъ право говорить и не въ эту же ночь я буду молчать. Передразнивая. Геннадій, голубчикъ, пожалуйста . . . Я двадцать лѣтъ учился кричать Геннадію: болванъ! И научился! Я двадцать лѣтъ стучалъ себя отъ жалости, душу вывернулъ на изнанку, кровавую ванну взялъ на востокѣ — и научился! А теперь приходитъ ко мнѣ выгнанный изъ дому профессоръ Сторицынъ и деликатнѣйшей своей дланью бьетъ меня по рожѣ. Передразнивая. Я ко всѣмъ благоволю, я презираю твой кулакъ, Телемаховъ, но почему же ты не заступился за меня, далъ Саввичу сломать мою деликатнѣйшую душу?

СТОРИЦЫНЪ. Неправда! Мнѣ не нужна твоя защита. Я странникъ, попросившій ночлега, бездомный бродяга, которому некуда идти.

ТЕЛЕМАХОВЪ подходя близко, наклоняя голову и смотря прямо въ глаза Сторицыну. Защиты не надо? Хе-хе. А Саввичъ? А кто сегодня искалъ револьверъ — но развѣ въ домѣ профессора Сторицына есть эта штука капитана Кука? А у меня есть! . . Есть и всегда будетъ! . . Нетлѣнное! . . Ну, есть, и молчи, не болтай, не таскай по улицамъ, не корми животныхъ . . . твоимъ нетлѣннымъ. Вотъ оно гдѣ у меня сидитъ. Бьетъ себя въ грудь. И молчу. И слова не скажу, умирать буду, такъ въ ротъ себѣ земли набью, чтобъ какъ нибудь не сболтнулъ языкъ. Мое оно! . . Пусть же профессора Сторицыны болтаютъ — а я буду стрѣлять, да! . . Низкій лобъ — такъ стрѣлять въ низкій лобъ! Стрѣлять, стрѣлять! Вѣшать.

СТОРИЦЫНЪ. Я ухожу. Я ни минуты не останусь въ домѣ, гдѣ такъ прозвучало это слово!

Дѣлаетъ шагъ къ двери.

ТЕЛЕМАХОВЪ какъ бы пригвождая его указательнымъ пальцемъ. Уходишь? Иди, иди. А куда ты пойдешь?

Въ дверь выглядываетъ испуганный Володя.

СТОРИЦЫНЪ. Я иду. Прощай.

ТЕЛЕМАХОВЪ. До свиданія. Геннадій, проводить! А куда ты пойдешь? У тебя нѣтъ дороги!

СТОРИЦЫНЪ. Куда? Поднимая руки. Есть же хоть одинъ слушатель, который слышалъ меня. Къ нему!

Идетъ къ двери, но громкій звонокъ останавливаетъ его.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Геннадій, погоди! Володя, въ переднюю, самъ открой.

ВОЛОДЯ. Хорошо.

Довольно быстро проходитъ. Телемаховъ приближается къ Сторицыну и говоритъ, стоя къ нему бокомъ и не глядя.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Прошу извинить меня. Я немного пьянъ сегодня и — вспылилъ! Оставайся здѣсь, я прошу тебя. А если мое присутствіе тебѣ непріятно, то у меня сегодня есть дѣло въ больницѣ.

СТОРИЦЫНЪ качая головой. Нѣтъ. Я иду.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ну, извини старую собаку. Если ты сегодня позволишь себѣ уйти отъ меня, то я — тоже уйду, минуты здѣсь не останусь! Къ чорту!

ВОЛОДЯ входитъ. Я отворилъ, они раздѣваются. Это дядя Модестъ съ княжной.

ТЕЛЕМАХОВЪ. А! . . Княжна! Застегивая тужурку и оправляясь, идетъ навстрѣчу. Очень радъ!

Входитъ княжна и Модестъ Петровичъ: ихъ церемонно, но очень привѣтливо встрѣчаетъ Телемаховъ; подолгу тряся и задерживая руку и повторяя: очень радъ! очень радъ! Княжна въ вечернемъ туалетѣ, какъ будто привезена изъ гостей или изъ театра; взволнована, но сдерживается.

Сдерживается и Модестъ Петровичъ, видимо разстроенный, очень много пережившій, но теперь сіяющій отъ радости. Въ первую минуту ни онъ, ни княжна

какъ будто не обращаютъ вниманія на Сторицына, здороваются съ нимъ съ послѣднимъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ стараясь вторично застегнуть пуговицы. Милости просимъ. Княжна, прошу васъ садиться! . . Модестъ Петровичъ, прошу васъ, Володя, садись. Ты что же не сядешь, Валентинъ Николаевичъ? Геннадій . . . вина! Виновать: не прикажете ли чаю и фруктовъ? Геннадій! чаю и фруктовъ.

Всѣ садятся. Деньщикъ говоритъ что то вполголоса, потомъ громко.

ГЕННАДІЙ. Фруктовъ нѣтъ, ваше превосходительство.

ТЕЛЕМАХОВЪ сдерживаясь, яростно смотритъ на него, кричитъ. Чаю! Тише. Сервизъ достань, знаешь?

ГЕННАДІЙ. Такъ точно, ваше превосходительство.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Не безпокойтесь, пожалуйста . . . Прокопій?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Прокопій Евсеевичъ. Помилуйте, какое же безпокойство. Я очень радъ! Володя, подай пожалуйста папахену папироску.

СТОРИЦЫНЪ. Спасибо, у меня есть.

Телемаховъ садится и молчитъ. Сторицынъ улыбается.

СТОРИЦЫНЪ. Откуда вы, княжна?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Изъ театра. Я съ мамой и братьями была въ театрѣ.

СТОРИЦЫНЪ. Кончилось уже?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да, почти. Но какая страшная Нева! Мы ѣхали съ Модестомъ Петровичемъ черезъ мостъ . . .

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ улыбаясь. Не промочили ноги, Людмила Павловна?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА также улыбаясь. Немножко. А вы? Мы съ нимъ долго шли по какому то двору, и онъ все боялся, что я ноги промочу. Валентинъ Николаевичъ, вы знаете новость? — я изъ дома ушла совсѣмъ.

СТОРИЦЫНЪ улыбаясь. Когда же? Не знаю.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Сегодня. Я уже не вернусь домой. Вы одобряете мой поступокъ . . . вдругъ пугается и заканчиваетъ . . . профессоръ?

Молчаніе. Телемаховъ, увидѣвъ въ двери Геннадія съ подносомъ, яростно машетъ ему рукой и шипитъ: назадъ.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА смущаясь все больше и почти плача. Вы молчите? Но я уже давно стала думать, я еще только начала думать, но я понимаю, я такъ хорошо понимаю. И если . . . вы не одобрите моего поступка, то я совершенно не знаю, что мнѣ дѣлать.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ вставая. Валентинъ! Валентинъ Николаевичъ! Клянусь Богомъ, за этотъ день я второй разъ посѣдѣлъ, Валентинъ Николаевичъ! И если я еще живъ и не бросился въ воду, то это она, она! Я такъ и рѣшилъ, клянусь Богомъ, что или съ нею, или . . . Меня въ театръ не пускали безъ билета, я скандалить началъ и вдругъ она идетъ по корридору, я ее не узналъ, а она узнала меня . . . Тамъ такой скандалъ былъ, Валентинъ Николаевичъ, что если ты не одобришь . . . твоимъ авторитетнымъ словомъ . . . Тамъ мама ея и братья и такой, братъ, скандалтище! . .

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Оставьте, Модестъ Петровичъ. Пойдите, пойдите отсюда.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Голубчикъ ты мой! . . вѣдь это счастье, вѣдь это жизнь къ намъ пришла! . . Вѣдь я работать рѣшилъ: пусть валятся, пусть валятся, а я . . . Я тебя уважаю, но ты на колѣни пасть . . . на колѣни . . . Ура!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Глупо, Модестъ Петровичъ! Прошу васъ въ столовую, Модестъ Петровичъ, закусить, чѣмъ Богъ послалъ рюмочку водки . . . Геннадій! . . Володя, прошу.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. Ну и пусть глупо . . . И водки выпью и скандалить.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Глупо! . . Прошу, прошу . . .

Уводитъ за собой Модеста Петровича и Володю, закрывая дверь. Сторицынъ и княжна одни.

СТОРИЦЫНЪ. Онъ правду сказалъ? Простите меня, Людмила Павловна, но сегодня у меня такой длинный день — какъ цѣлая жизнь, и я немного сошелъ съ ума. Я не понимаю. Онъ правду сказалъ?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Правду. А что? Тамъ я не боялась, а теперь боюсь. Да, я ушла изъ дома навсегда. Но не для васъ ушла, вы не думайте, я давно хотѣла.

СТОРИЦЫНЪ. Значитъ, ни у меня нѣтъ дома, ни у васъ?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да.

СТОРИЦЫНЪ. Какой свѣтъ! Да, я понимаю теперь. Мы ушли изъ дома, и ни у тебя нѣтъ дома, ни у меня. Я понимаю теперь. Мы очень долго и напрасно притворялись — я профессоромъ Сторицынимъ, а ты какой то княжной, и это оказался вздоръ. Ты — не княжна, ты — дѣвочка въ рваномъ пальто. Слышишь?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Да.

СТОРИЦЫНЪ. И нашъ домъ, твой и мой — весь міръ. Закрой глаза и посмотри — весь міръ! Оттого и вѣтеръ сегодня — ты слышишь? — что мы ушли изъ дома, изъ маленькаго дома. И рѣка выходитъ изъ береговъ . . . слышишь? — это волны. Тебѣ не холодно, дѣвочка?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Нѣтъ. Вспыхнувъ. Мнѣ стыдно, что я такъ одѣта!

СТОРИЦЫНЪ. Ты вся горишь, какъ солнце! Но ты понимаешь, ты понимаешь, дѣвочка, какой неслыханный ужасъ: онъ взялъ твои цвѣты и бросилъ ихъ въ уголъ. Бросилъ твои цвѣты! Тогда мнѣ впервые показалось, что я сошелъ съ ума, и я оставилъ ихъ тамъ. Такъ и оставилъ, тамъ они и лежатъ, дѣвочка. Мнѣ бы идти съ ними по улицамъ, мнѣ бы въ рѣку съ ними броситься . . . глупая, старая Офелія.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Поѣдемте къ Модесту

Петровичу. Мнѣ становится страшно, когда я подумаю, какъ вы устали. Тамъ будутъ люди, которые любятъ васъ. Съ нами поѣдетъ Володя.

СТОРИЦЫНЪ. Да, поѣдемъ, онъ хорошій человѣкъ, и мнѣ надо очень, очень много спать, я усталъ. А завтра я пойду дальше, мнѣ надо идти.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА тихо плача. Мнѣ можно съ вами? Я буду сестрой, дочерью вашей, если хотите. Я знаю, что вы меня не любите.

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ, люблю. Ты слышишь, какой вѣтеръ? Это вѣчный вѣтеръ изгнанниковъ, тѣхъ, кто оставилъ маленькій домъ и среди ночи идетъ въ большой, возвращается на родину. Его слышатъ только изгнанники, онъ вѣетъ только надъ ихъ головой . . . Встаетъ. Мнѣ страшно! Мнѣ страшно, дѣвочка! Это не вѣтеръ! Это Духъ Божій проносится тамъ! Слушай!

Закрываетъ глаза и протянувъ руку къ окнамъ за которыми вѣтеръ, прислушивается. Открываетъ глаза и улыбается.

СТОРИЦЫНЪ. Это часовые такъ кричатъ, когда перекликаются: слу-у-шай! Мнѣ кажется, что иногда я говорю что то странное, Людмила Павловна, но у меня жаръ, кажется. Но почему: жаръ и почему странное? — я ясно вижу, какъ никогда.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Но какъ же это! Вы даже не переодѣлись, на васъ мокрое и вы простудитесь! Сейчасъ я устрою.

СТОРИЦЫНЪ равнодушно. Не надо простуживаться. Для этого надо переодѣться.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Я позову ихъ. Модестъ Петровичъ!

СТОРИЦЫНЪ. Позови. Все это совершенно то, что надо. Сегодня я забылъ свои папиросы и зашелъ въ какую то лавочку . . . такъ странно! Я уже десять лѣтъ не заходилъ въ лавочку . . . такъ странно!

Входятъ всѣ. Модестъ Петровичъ слегка на-веселѣ — совсѣмъ немного.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Модестъ Петровичъ, мы ѣдемъ.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ. И великолѣпно! И какъ разъ во время! И все есть и все будетъ! Прокопій, другъ, пошли за извозчиками на финляндскій вокзалъ. А мы съ Прокопіемъ на брудершафтъ и теперь онъ бывшій генералъ. Прокопій, ты мнѣ нравишься.

ТЕЛЕМАХОВЪ. А ты мнѣ нѣтъ. Геннадій! . .

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Нѣтъ, погодите, Прокопій Евсеичъ, ему надо переодѣться. Дайте бѣлье и вашъ сюртукъ, онъ совсѣмъ мокрый.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Слушаю-съ. Къ сожалѣнію, у меня только форменное. Вошедшему Геннадію. Геннадій! Господину профессору мой новый сюртукъ . . . ну? — который въ шкафу. Валентинъ Николаевичъ, пройди пожалуйста, въ спальню, сейчасъ тебѣ дадутъ переодѣться. Извините, княжна.

СТОРИЦЫНЪ съ улыбкой смотрѣвшій на всѣхъ. Это нужно?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Да. Иди, милый.

СТОРИЦЫНЪ. Хорошо. Володя, пойдемъ со мной. Какіе вы всѣ особенные и . . . странные! Пойдемъ переодѣваться, Володя. Такъ нужно.

ВОЛОДЯ. Пойдемъ, папахенъ.

Уходятъ въ спальню.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Прокопій Евсеичъ, я боюсь за него. У него, кажется, жаръ, онъ немного бредитъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не знаю, не замѣчалъ! И если человѣка грызть цѣлыя сутки, раздирать на части и — чавкать! — то онъ будетъ заговариваться. Я самъ заговариваюсь сегодня. Вышедшему изъ спальни Геннадію. Геннадій! Два извозчика на финляндскій вокзалъ, тридцать копеекъ. Если я только часъ буду видѣть передъ собою

рыцарскую рожу господина Саввича, я — всѣ слова забуду! И кончено! Дѣло не въ томъ, что жаръ, а . . .

Въ прихожей звонокъ, всѣ замираютъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Геннадій — погоди. Володя, прошу въ переднюю, дѣло есть. Геннадій, помоги Владиміру Валентиновичу. Княжна, прошу васъ садиться. Модестъ — сядь. Володя и Геннадій быстро проходятъ въ переднюю. Дверь въ спальню полуоткрыта. Голосъ Сторицына: кто тамъ. Не важно, пустяки, сейчасъ все устроится. Два слова господину Саввичу. Прошу, Валентинъ Николаевичъ. Плотно закрываетъ дверь въ спальню. Садитесь, княжна.

Дѣловито поворачиваетъ выключатель одной изъ висячихъ лампъ, и въ комнатѣ становится темнѣе. Слышно, какъ въ прихожей гремитъ снимаемый засовъ. Вытянувъ шею и дергая себя за бородку, Телемаховъ прислушивается къ происходящему въ передней. Ясно слышенъ слѣдующій діалогъ:

САВВИЧЪ. Что это къ вамъ не дозвонишься? Спишь, каналья. Профессоръ Сторицынъ у васъ? — скажи, что за нимъ изъ дому пріѣхали. Живо! . . Позвольте, позвольте, кто вамъ даетъ право, я васъ не знаю . . . А это ты, Володька?

ВОЛОДЯ. Я.

Мгновеніе молчанія.

САВВИЧЪ. Ты отвѣтишь! Я не позволю бить по лицу, маль . . .

Мгновеніе молчанія.

САВВИЧЪ. А, ты еще! Позвольте, что это? Двое на одного. Да я . . .

Голосъ обрывается. Мгновеніе молчанія и громкій звукъ задвигаемаго засова. Два-три яростныхъ звонка съ площадки и тишина.

ТЕЛЕМАХОВЪ съ наслажденіемъ прислушиваясь къ звонкамъ и напѣвая, прохаживается по комнатѣ. Машенька гуляла во своемъ саду — дуду . . . Залпомъ выпиваетъ стаканъ, нѣжно. Ну какъ, Володя?

ВОЛОДЯ. Ничего. Ушелъ. Но только я . . .

Нѣкоторое время гнѣвно сопя и фыркая, совершенно округливъ глаза и какъ то странно шаря руками по тѣлу, кружится по комнатѣ. Потираетъ правую руку.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ тихо. Оставь, Володя, сядь! Сдѣлалъ, ну и сядь. Какой ты, братъ, однако, звѣрь!

ТЕЛЕМАХОВЪ. Нѣтъ, отчего же? Геннадій . . . Геннадій — спасибо.

ГЕННАДІЙ. Радъ стараться, ваше превосходительство.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ступай. Нѣтъ, отчего же? Выпиваетъ стаканъ. Машенька гуляла . . .

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. А онъ? Онъ молчитъ. Прокопій Евсеичъ, онъ молчитъ?

Всѣ на мгновеніе съ нѣкоторымъ страхомъ оборачиваются къ спальнѣ, гдѣ молчитъ Сторицынъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ стукнувъ и пріоткрывая дверь. Валентинъ, къ тебѣ можно или ты выйдешь сюда?

Молчаніе. Телемаховъ заглядываетъ въ дверь и сердито отходитъ. Людмила Павловна въ безпокойствѣ смотритъ на него. Телемаховъ показываетъ жестами, что Сторицынъ сидитъ, опустивъ голову на руки. Показавъ — уже отъ себя и яростно пожимаетъ плечами.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА тихо. Онъ слышалъ?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Не знаю. И знать не желаю! Володя, пройди къ отцу.

ВОЛОДЯ у двери. Папахенъ, къ тебѣ можно? А, папахенъ?

СТОРИЦЫНЪ. Нѣтъ. Пошли ко мнѣ Модеста.

Модестъ Петровичъ тихонько входитъ, оставляя дверь полуоткрытою.

ТЕЛЕМАХОВЪ становясь въ рѣшительную позу, рядомъ съ полуоткрытой дверью. Позволь тебѣ замѣтить, Валентинъ Николаевичъ, что это я распорядился и вину беру — на себя! Я не хотѣлъ осквернять твоего слуха, но этотъ домъ — мой, и я не могу позволить, чтобы господинъ Саввичъ безнаказанно разѣвалъ свою гнусную пасть. И кончено!

ВОЛОДЯ. Папахенъ, а папахенъ, ты напрасно. Если ты даже этого понять не можешь, то я тоже уйду. Честное слово. Пусть и у меня не будетъ дома, не желаю я такъ, папахенъ. Пусти, говорю.

СТОРИЦЫНЪ. Войди.

Не оборачиваясь, и опустивъ голову, какъ будто дверь очень низка, Володя бокомъ входитъ. Дверь закрывается. Телемаховъ и княжна одни. Молчаніе. Телемаховъ садится на свое кресло у стола, выпиваетъ стаканъ вина и искоса черезъ очки смотритъ на дверь. Затѣмъ переводитъ взглядъ на княжну.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Что вы, Прокопій Евсеичъ? Вы что нибудь хотите сказать?

ТЕЛЕМАХОВЪ. Дайте руку.

Беретъ протянутую руку, цѣлуетъ, и положивъ на столъ, склоняется на нее лицомъ.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Прокопій Евсеичъ, вы плачете? Не надо.

ТЕЛЕМАХОВЪ поднимая голову и садясь обычно. Пьянъ, оттого и плачу. Плачу и кончено! И никто не смѣетъ запретить мнѣ плакать. И кончено. Грозитъ пальцемъ въ направленіи спальни. Пусть! . . и очень сожалѣю, скорблю душевно, что самъ вотъ этой рукой . . . Трясетъ кулакомъ почти передъ самымъ лицомъ княжны . . . не могъ. И кончено. — Княжна?

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Что, Прокопій Евсеичъ?

Телемаховъ молча и самъ продолжая глядѣть на княжну показываетъ на дверь, за которой Сторицынъ, и чертитъ указательнымъ пальцемъ какъ бы круги.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА со страхомъ. Я не понимаю.

ТЕЛЕМАХОВЪ наклонившись и продолжая чертить пальцемъ. Скоро умретъ. Сердце никуда. Скоро умретъ.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Этого не можетъ быть?

ТЕЛЕМАХОВЪ утвердительно кивнувъ головой. Будетъ. — Но что это?

На цыпочкахъ, съ выраженіемъ крайняго страха на лицѣ и въ походкѣ, изъ спальни выходитъ Володя и останавливается, смотря назадъ.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Что съ нимъ?

ВОЛОДЯ. Не знаю. Умираетъ, должно быть. Не знаю.

Почти повторяя движенія Володи, но закрывая лицо руками, выходитъ Модестъ Петровичъ. Всѣ со страхомъ смотрятъ на дверь. Широко раскрывая ее, выходитъ Сторицынъ, слѣпой къ окружающему, страшный въ своемъ выраженіи сосредоточенности и полной уже отрѣшенности отъ видимаго. На немъ короткій, не по росту, форменный сюртукъ Телемахова, ботинки грязны. Медленно, не оглядываясь, идетъ къ двери.

ТЕЛЕМАХОВЪ трезвѣя. Куда ты?

Сторицынъ останавливается и мгновеніе смотритъ назадъ, не видя.

СТОРИЦЫНЪ. Я иду. Поднимаетъ руку. Слышишь?

Въ комнатѣ мгновеніе полной тишины: слышнѣе яростные взвизги и глубокіе вздохи вѣтра за окномъ, удары дождевыхъ капель по стекламъ. Сторицынъ поворачивается и идетъ съ выраженіемъ той же сосредоточенности. Первые шаги тверды, но дальше силы измѣняютъ — шатается — почти пробѣгаетъ два шага и падаетъ у самой двери. Къ нему подбѣгаютъ.

ВОЛОДЯ. Папахенъ! Папа! Папа! . .

ТЕЛЕМАХОВЪ. Пусти. Подними голову, открой грудь. Не ревѣть, тихо.

Слушаетъ, приложивъ голову къ сердцу, затѣмъ отчетливыми шагами выходитъ на середину комнаты и останавливается спиной къ трупу, рѣшительно сдвинувъ ноги и яростно щипля бороду. Володя и Модестъ Петровичъ плачутъ.

ТЕЛЕМАХОВЪ. Ложь — ложь — ложь! Яростно кричитъ, грозя вверхъ кулакомъ. Убійца!

Занавѣсъ.

Конецъ.

Замѣтки актерамъ и режиссеру.

СТОРИЦЫНЪ — мѣняется, съ каждымъ актомъ становясь глубже и серьезнѣе. Рѣчь его, въ началѣ быстрая и легкая, становится все медленнѣе и тяжелѣе. Въ четвертомъ дѣйствіи онъ кажется замѣтно постарѣвшимъ.

КНЯЖНА — также мѣняется. Въ первомъ дѣйствіи — это красивая съ холоднымъ лицомъ, гордая дѣвушка, нѣсколько самоувѣренная. Въ послѣднемъ — это почти дѣвочка, робкая, искренне плачущая.

ТЕЛЕМАХОВЪ — неизмѣненъ. Рѣчь его — отрывистая, рѣзкая, съ неожиданными выкриками въ серединѣ и концѣ фразъ. Въ сущности очень добрый человѣкъ, принуждающій и отчасти принудившій себя быть злымъ. Любитъ Володю.

ВОЛОДЯ — здоровый, широкоплечій малый, тяжелый отъ неразвернувшейся еще силы. Къ отцу, отрицая его жизнь, относится съ бережной, однако, любовью.

СЕРГѢЙ — такъ же съ виду крѣпокъ и силенъ, хотя худъ. Лицо деревянное, почти безъ игры, и только въ сценѣ опьяненія, искажается гримасой неудержимаго отвращенія и испуга.

САВВИЧЪ — искренне считаетъ себя рыцаремъ, красавцемъ и умницей. Мамыкинъ изображаетъ его толпу, неизмѣннаго свидѣтеля его благородства. Каждый разъ, уходя, Саввичъ искренне вѣритъ, что оставшіеся должны говорить о немъ съ восторгомъ. Самолюбивъ, но обижается не сразу, постепенно доходитъ до ярости, сдерживается только страхомъ уголовщины. Морально глупъ.

МАМЫКИНЪ—искренне жаждетъ правды и обличенія, обозленъ неудачами. Уже началъ сомнѣваться въ Саввичѣ и тайно ведетъ о немъ обличающій дневникъ. Въ сценѣ издѣвательства надъ Сторицынимъ чувствуетъ стыдъ. Самолюбивъ до того, что можетъ говорить только тонкимъ голосомъ, звучащимъ неутолимою обидой.

МОДЕСТЪ ПЕТРОВИЧЪ — слабый, раздавленный жизнью человѣкъ, безсильный въ своей добротѣ.

Въ сценѣ въ Озеркахъ не должно быть ничего, специфически дачнаго: ни разносчиковъ, ни прохожихъ и т. д. Студентовъ не видно, слышны только ихъ голоса и смѣхъ. Первое дѣйствіе, начиная съ выслушиванія, должно вестись въ духѣ серьезности и простоты. Въ Саввичѣ необходимо избѣгать подчеркиваній, онъ фигура отнюдь не комическая.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА — глубоко запутавшійся человѣкъ, переставшій что бы то ни было понимать. Саввича одновременно считаетъ подлецомъ и героемъ. Мужа и дѣтей любитъ, но съ крайней безтолковостью.